ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ



Вл. Канивец

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ


ЖЗЛ

ЖИЗНЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ

СЕРИЯ БИОГРАФИЙ
Основана в 1933 году М. Горьким

ВЫПУСК
15
(329)

МОСКВА, 1961

Вл. КАНИВЕЦ

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ

ИЗДАТЕЛЬСТВО ЦК ВЛКСМ
„МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ“

9 (С) 16+092
К-19

В черные дни реакции восьмидесятых годов, когда казалось, царизм окончательно расправился с революционным движением, Александр Ульянов с товарищами сделал попытку возродить лучшие традиции народничества. Он избрал ошибочный путь террора и погиб на виселице.

Эта книга — первая полная художественная биография Александра Ульянова — рассказывает о коротком, но славном жизненном пути революционера, передавшего эстафету борьбы с царизмом своему младшему брату, Владимиру Ильичу Ульянову-Ленину.

Автор книги писатель Владимир Васильевич Канивец родился на Украине в 1923 году. Участвовал в Великой Отечественной войне. После окончания Рижского университета много лет работал журналистом. Перу Вл. Канивца принадлежит несколько пьес, повесть и ряд рассказов.



Александръ Ульяновъ



ГЛАВА ПЕРВАЯ

1

Когда Илья Николаевич вернулся с занятий домой, Мария Александровна уже по выражению лица его поняла: произошло что-то необычное. Она в это время укладывала Сашу и Аню спать, а потому и не могла тут же его расспросить.

— Мама, сыграешь нам? — спрашивал Саша, кутаясь в одеяльце.

— Хорошо. Только закройте глазки и слушайте...

Мария Александровна на цыпочках вышла из детской и села за фортепьяно. Тонкие пальцы ее легко пробежали по клавишам, и комнаты наполнились ти-

хими, ласковыми звуками. Когда замер последний аккорд, Илья Николаевич, стоявший все время рядом, склонился к жене, тихо спросил:

— Ты уже догадалась, что есть новость?

Мария Александровна повернула к нему освещенное луной и оттого еще более красивое лицо, пожала руку. Илья Николаевич потер ладонью лоб, сказал:

— Мне предлагают место инспектора народных училищ.

— Где?

— В Симбирске. Ну, что ты на это скажешь?

— Уезжать отсюда нам нужно. — Мария Александровна задумчиво помолчала, продолжала: — Однако... Мне кто-то говорил, правительство инспекторов утверждает во вред народным школам.

— Нет, извините! — возразил Илья Николаевич. — Инспектор народных училищ — это не воспитатель, которого вполне мог бы заменить фельдфебель. Инспектору даны большие права. И это уже зависит от человека, как он их использует: во вред народу или на пользу ему.

Илья Николаевич долго говорил о народной школе, о роли инспектора. Да, он знает, его ждет много трудностей. Земство только берется за организацию школ. Делает оно это робко, со вздохом. Дворянство, обиженное реформой, отнявшей у него крепостных, вопит о разорении, о гибели России. Ярые крепостники уверяют, что просвещение совсем испортит мужика. Но Илья Николаевич по судьбе своего отца, бедного астраханского портного, с трудом умевшего расписываться, по судьбе неграмотной матери своей, по судьбе брата Василия, по судьбе обездоленных сестер своих, а не по этим разглагольствованиям бар знал, что не свобода и просвещение, а нищета и темнота губят русского человека, а вместе с ним и Россию.

— Если бы ты знала, — говорил Илья Николаевич, — как брат Вася хотел учиться! Но умер отец, и ему пришлось все заботы о семье взвалить на свои плечи. Вместо гимназии он пошел к купцам Сапож-

никовым служить соляным объездчиком. А меня разве не такая доля ждала, если бы он не помог?

О брате Василии Мария Александровна слышала много хорошего. О матери и сестрах Илья Николаевич тоже говорил с особой теплотой, и ей хотелось увидеться с ними, но так получилось: летом, в дни каникул, ей приходилось нянчиться с грудными детьми, а зимой, когда замерзала Волга, нечего было и думать о поездке в такую даль на перекладных. Теперь Аня и Саша подросли, с ними уже легче совершить путешествие. И, когда Илья Николаевич, взволнованный воспоминаниями, грустно затих, она сказала:

— Илюша, знаешь что? Давай поедем к твоим, а?

— Как бы это славно было! Мать, наверное, во сне уже видит внучат. Но вот беда: пока я рассчитаюсь, пока вещи на баржу погружу да в Симбирске подыщу какой-то угол, где бы можно было хоть на время приютиться, лето и пройдет.

— Отпусти нас одних.

— Я боюсь, тебе трудно будет в дороге с детьми. Ну, а там...

— Не надо об этом, — мягко остановила Мария Александровна мужа, — давай лучше подумаем, когда мне удобнее всего уехать.

2

Много раз с мамой и Аней Саша играл в путешествия. Садились они на поставленные в ряд стулья, он помахивал кнутиком, а мама так интересно рассказывала, куда, по каким местам они едут, что у Саши дух захватывало от птицей летящей тройки, и он действительно видел не стены и окна комнат, а сказочно красивую дорогу. Дорога вьется по крутому берегу Волги, а внизу, спотыкаясь и падая, тянут баржи бурлаки. Песнь они поют такую скорбную, что у Саши сердце сжимается от жалости к ним. Но вот тройка вылетает на просторы вольной, неоглядной степи, и слышен только свист ветра, перестук копыт да звон колокольчика...

И сегодня вот: не успел Саша проснуться, как к его кроватке подошла мама и, улыбаясь, спросила:

— Хочешь путешествовать?

— А куда поедем?

— Не поедем, а поплывем.

Саша откинул одеяльце, подхватился:

— К бабушке? На настоящем пароходе? Аня, просыпайся быстрее! — кинулся Саша тормошить сестренку. — К бабушке поплывем! На настоящем пароходе! По настоящей Волге!

Когда Аня и Саша засыпали, Мария Александровна поднималась на палубу. Из всего дня эти вечерние часы только и принадлежали ей. Майские вечера на Волге были еще прохладные, и она, укутавшись в шаль, усаживалась в укромном уголке и думала о предстоящей встрече с родными мужа.

Илья Николаевич не любил рассказывать о своем детстве, и если она принималась расспрашивать его, то он отвечал односложно и скупо. Она знала, что Илья отца своего почти не помнил. И Мария Александровна тоже росла полусиротой, без матери. Воспитанием ее занимались тетка Екатерина и отец. Отец был человеком строгим, крутым, воспитание признавал только спартанское. Врач по профессии, он был сторонником модных в то время физических методов лечения. Заставлял детей обливаться по утрам холодной водой, спать в мокрых простынях, что было, по его убеждениям, — а убеждения свои он не менял и твердо проводил в жизнь, — необходимым для укрепления нервов. Ослушаться папеньку никто и думать не смел, и сестры часто плакали, накрывшись подушками, чтобы никто не слышал. Отец не признавал закрытых учебных заведений (а других в то время не было) и не сделал исключения даже и для любимицы Маши: она получила только домашнее образование и, уже будучи взрослой, подготовилась и с успехом выдержала экзамен на домашнюю учительницу.

Темнело. Людской гомон на пароходе стихал. Волга расцвечивалась зелеными и красными огоньками бакенов. Берега тонули в подступавшей темноте, и ка-

залось, вода разлилась до самого горизонта, и пароход, беспомощно хлопая плицами, плывет по этому бескрайному морю. Сон начинал путать мысли, Мария Александровна встала и ушла в каюту. Но уснуть она не могла долго: ведь это уже последняя ночь на пароходе.

8

Мария Александровна слишком хорошо знала своего мужа, чтобы сомневаться в том, что ее встретят не так, как он говорил. И все-таки, подплывая к Астрахани, она заметно волновалась. Всю жизнь она провела в кругу своих. А последние годы, когда отец, уйдя в отставку, поселился в маленькой деревушке Кокушкино, она почти безвыездно жила там. Ей никогда не приходилось жить у чужих, пусть даже очень хороших людей. Она всю дорогу обдумывала, как ей себя вести, и в то же время понимала: это бесполезно. Притворяться не сможет, и все будет хорошо только в том случае, если она придется по душе этим людям такой, какова она есть.

— Мама, мы уже приехали? — допытывалась беспокойная Аня. — А где же бабушка? Где дядя?

Мария Александровна всматривалась в пеструю, возбужденную толпу людей, запрудившую пристань, стараясь угадать, кто же встречает их. Вот матросы бросили трап, и два потока людей — с парохода и на пароход — с криком и гамом двинулись по нему.

Когда первая волна самых нетерпеливых схлынула, Мария Александровна увидела робко пробивающегося к трапу невысокого человека с блестящими на ярком астраханском солнце, густо напомаженными волосами, в черном сюртуке, сидящем на нем неловко, как это бывает с одеждой, которую надевают только по большим праздникам. По тому, как этот человек двинул плечом, она сразу же узнала его: точно так двигал плечом Илья, когда очень смущался. За этим роднившим братьев жестом она разглядела и другие характерные ульяновские черточки: заметно скуластое лицо, калмыцкий разрез глаз, круг-

лый лоб с залысиной, которую он прикрыл искусной прической.

Василий Николаевич тоже узнал Марию Александровну — с двумя детьми она была на пароходе одна, — но продолжал стоять у трапа, пропуская прохожих, теребя белые манжеты и виновато поглядывая в ее сторону. И, только выждав, когда по трапу можно было пройти не толкаясь, он, еще раз поправив закрученную к правой брови прядь напомаженных волос, боком протиснулся на палубу, спросил с полупоклоном, изо всех сил стараясь сдержать разливавшуюся по бледному от волнения лицу радостную улыбку:

— Имею честь видеть Марию Александровну? Ульянов-с. Василий Николаевич, — представился он и церемонно поцеловал руку Марии Александровны. — Это, значит, Саша, а это Анечка? — нагнувшись к спрятавшейся за юбку матери девочке, ласково, с не унявшимся еще волнением в голосе говорил он.

— Очень, очень мы ждали вас. Ну-с? — обратился он опять к Марии Александровне, уже не сдерживая улыбки. — Прикажете вещи взять? Никита, идика, братец, подсоби! — крикнул он сидевшему на козлах бородатому извозчику и сам, забыв о парадной форме своей, проворно начал нагружаться узлами.

Под «Заячьим бугром» на намытой могучей Волгой косе стоял небольшой домик в полтора этажа — верхняя надстройка деревянная, а нижняя, полуподвальная, каменная. Этот домик — все, что оставил в наследство старик Ульянов своим детям. По бедности купил он его в рассрочку у лафетного подмастерья Липаева. И хотя до самой смерти своей не выпускал из рук ножниц и иголки, так и не сумел выплатить весь долг. В ревизской сказке за 1835 год, собственноручно подписанной стариком Ульяновым, — ему в то время было уже 70 лет — значится, что купчей крепости на дом еще не совершено и никаких документов он не имеет, «кроме платежных квитанций, цену коему объявил 260 рублей».

У дома маленькая старушка кинулась к останов-

вившейся телеге. Она металась от Марии Александровны к детям, приговаривая:

— Детки... Деточки мои...

В ее словах было столько ласки, что у Марии Александровны защемило сердце. Она обияла эту малеиькую, очень похожую иа любимого ею человека женщину и поцеловала. Повериулась к стоявшей в стороике сестре Ильи Федосье, обнялась с ней, сказала, точио после долгой разлуки вернулась домой:

— Вот я, родные, и увидела вас...

Старик Ульяиов оставил только то, что всю жизнь кормило его: большой чугуиный утюг, портняжные ножницы, наперсток, подушечку с иглами. Все семейные реликвии свято хранились. По побитому иглами большому иаперстку и сточениым иожиицам видио было, как долго они служили своему хозяиину. Глядя на этот единствеииый «портрет» осиовоположиика ульяновского рода, Марии Алексаидровие зримо представилось, как могучий старик, сутуля широкую спииу, стоял у стола и с хрустом кроил иожницами домотканые холсты.

По тому, с каким почтеиием все в доме говорили о старике, чувствовалось: власть этого сильного и, видимо, крутого по характеру человека ощущалась до сих пор. Марии Алексаидровне вспомнилось. Илья как-то рассказывал. Отец послал его вечером в лавочку купить чаю на пятачок. Дал ои ему гривеиик и, строго хмурясь, приказал: «Гляди ие потеряй». Малеиький Илюша, возвращаясь с покупкой, как иа грех, завяз, переходя раскисшую после дождя улицу, да так осиовательио, что ие мог выкарабкаться, ие вымазав чай в грязи. Вериувшись домой, он долго стоит за входиой дверью, ие решаясь показаться отцу иа глаза.

Отчаяиие придает ему храбрости, и он потихоньку открывает дверь. Отец, воткнув иглу в овчину, помигивая слезящимися от иатуги глазами, строго, в упор смотрит на него. Молчание отца длится вечиость...

Мария Александровиа вздрагивает и выходит из комиаты. Взору ее открывается волжский простор. Оиа облегченно вздыхает. Припоминается, как Илья

всегда восторженно говорил о Волге, как он любил ее и радовался, когда судьба опять приводила его на берега родной реки. Не потому ли так любил Волгу, что все то светлое, вольное и радостное, что было в его суровом детстве, связано с нею?

Бабушка баловала внучат: подавала им завтрак в кровати, потакала шалостям, закармливала сладостями. Марья Александровна сделала попытку завести свой домашний порядок, но между бабушкой и детьми сразу же возникли секреты, и она уступила. Анна Алексеевна несказанно обрадовалась, что Сашенька и Аня попали в ее полное распоряжение, и, как говорится, пушинке не разрешала сесть на них. Особенно усердно и ревниво она колдовала возле Саши, который в отличие от Ани совсем не дичился ее. Необыкновенная развитость трехлетнего Саши, взрослая рассудительность, смелость, с какой он шел ко всем и отвечал на все вопросы, вызывали на ласково прищуренных калмыцких глазах бабушки слезы умиления. А когда она однажды, зайдя в комнату, увидела, что Саша лежит на разостланной по полу газете и читает ее, она, не веря глазам своим и ушам, долго стояла на пороге. Вечером, когда вернулся Василий со службы, шепотом, точно великий секрет, сообщила ему это, и он, конечно же, не поверил. Но когда утром сам дал Саше газету, тот преспокойно прочел ему все, что дядя просил.

— Да-а, — теребя ус, озадаченно протянул Василий Николаевич, — вот оно, что значит, ежели грамотные родители. — И, задумчиво помолчав, обнял Сашу, растроганно сказал: — Спасибо, дружок. И дай бог, чтобы у тебя была не такая судьба, как у твоего деда и дяди. Да, Мария Александровна, не те времена. Нет, я одобряю его новую должность. Кто ж, как не он, должен помочь детям бедняков?

4

Переехали Ульяновы в Симбирск осенью 1869 года, когда Саше не было и четырех лет (родился он в Нижнем Новгороде 31 марта 1866 года).

Симбирск по сравнению с Нижним показался Марии Александровне просто большой деревней. Место жительства было тоже выбрано не совсем удачно: Стрелецкая улица, в конце которой стоял дом, упиралась в площадь с тюрьмой. Главным фасадом тюрьма выходила на Старый венец — так назывался высокий берег Волги. («Новый венец» был в центре города.) Здесь стояло несколько скамеек, засыпанных шелухой подсолнечников и головами воблы.

Но, несмотря на тесноту флигеля, на серость города, на неприятное соседство тюрьмы и сотни других больших и маленьких неудобств, настроение у Ульяновых было приподнятое. Илья Николаевич весь ушел в новую работу. Мария Александровна во всем поддерживала его, помогала ему, ограждала от забот по устройству. Наталья Ивановна Ауновская, жена учителя, знакомого по Нижнему Новгороду, видя, какое унылое впечатление произвел Симбирск на Ульяновых, говорила:

— Это он осенью такой невзрачный. А весной, когда зацветут сады, вы не узнаете города. И с жильем все к весне устроится: хозяин честным словом заверил, что освободит для вас второй этаж дома.

5

После беспросветных, неделю моросивших дождей выдалась, наконец, солнечная погода. Из заволжских далей потянул теплый ветер, в воздухе заблестели принесенные бог весть откуда серебристые паутинки. По вечерам над Волгой слышалось хватающее за душу курлыканье журавлей. В лучах солнца и Волга стала приветливее, и город красивее, и даже маленький флигель просторнее.

В один из таких дней Илья Николаевич поехал по губернии посмотреть сельские школы.

По отчетам Илье Николаевичу было ясно: сельские школы влачат жалкое существование. Но то, что он увидел, превзошло все самые худшие предположения. В первой деревне, где по отчетам значилась шко-

ла, растерянный староста, истово кланяясь, чтобы не глядеть в глаза, объясиял, что ребятишек-де, верно, собирался писарь грамоте обучать, да все вот ему, зиачит, некогда. Илья Николаевич зашел к писарю, но тот недавно вернулся с ярмарки, и попытки разбудить его ни к чему ие привели. В другом селе школа помещалась в церковной караулке. У Ильи Николаевича полегчало иа душе, когда он услышал, что ребята учатся. Но оказалось, что и эта школа — одно только название: в малеинькой церковной караулке сидели три посииевших от холода мальчика, похожих больше на арестантов, чем иа школьииков. Илья Николаевич глянул на порванные пиджаки с чужого плеча, на засученные по колеии штанишки, на босые, черные от грязи ноги, и сердце больно сжалось: тоскливыми, голодиыми глазами этих мальчишек глядело на него собствениое сиротское детство.

В следующем селе школа помещалась при волостном правлении. Темио, сыро, угарио. Учитель, худой семинарист, одет в какое-то иевообразимое тряпье, на ногах — белые валеики. Они старые, дырявые, и из дыр торчит грязиая солома.

— От старшины только и слов, — как-то равнодушно жалуется учитель, не стесняясь присутствием учеников: — «Вы ничтожество, мелкота. Ваше дело — сидеть смирно и иичего не просить. А будете шуметь, лезть всюду — выгоним!»

— Хорошо, об этом мы особо поговорим, — остаиовил Илья Николаевич учителя, — а сейчас хочу посмотреть, что зиают ваши ученики.

— Пожалуйста, — так же уныло и равнодушно протяиул учитель, — прикажете начать с закона божьего?

— Как угодио.

— Прытков, расскажи нам о потопе.

Мальчишка испуганно вскочил с места. Прокашлялся. Шумно вздохнул и замер. Еще вздох, но — опять ни слова.

— Когда народ размиожился и развратился, — громко зашептал учитель, делая угрожающие знаки руками.

— ...тогда, — бойко подхватил мальчишка, радостно встряхнув копной спутанных волос, — господь задумал иаказать нх...

И вдруг за стеиой послышалнсь раздирающне душу вопли: «Батюшки, отцы родные, старнчкн! Помилосердствуйте! Другу н недругу закажу! Ай, ай, ай, а-а-а-а!..»

— Батю порют! — весь помертвев, сказал мальчншка, сидевший рядом с Ильей Нноколаевнчем.

— Что это такое? — спросил Илья Николаевич растерянно опустившего голову учнтеля.

— Секут. По приговору мира. И так, осмелюсь доложнть, бывает часами.

И так почти в каждой школе: не одио, так другое. Чтобы вытребовать самую ннчтожную прибавку жалованья учнтелю, нужно выдержать целый бой. Старшнна н пнсарь жалуются иа учнтеля, учитель — на ннх. А мироеды, держащие в руках всю деревню, твердят:

— Какое это ученье? Какая это наука? Все больше лаской да увещеваниями. А что в писаннн святом сказано? Там сказано: «Не ослабляй бня младеица! Страх божий — начало всей премудростн!»

Под мерный перестук колес, как это всегда бывает в дороге, когда человек остается наеднне со своимн мыслямн, думалось хорошо, н, когда Илья Николаевич вернулся в город, у него созрело много планов. Вернувшись домой, он начал говорнть о ннх жене:

— Перво-наперво надо селу дать иовых учнтелей. Где нх взять? Нужно оргаинзовать курсы. Да, да, курсы! И прнгласить иа курсы лучших людей нз сельскнх школ. Надо...

Мария Александровна смотрела иа обветренное, похудевшее, но необыкновенно оживленное лнцо мужа н радостно думала, что такнм она его ннкогда не видела. Ои словио помолодел, словио открыл перед нею какую-то другую, иеведомую ей до сих пор сторону души. И вдруг оиа поняла, что с ним произошло: он впервые в жнзин все силы ума н душн отдавал тому делу, которое было главным его призваннем.

В хлопотах по устройству курсов, в постоянных разъездах прошла первая зима в Симбирске.

В инспекторском отчете Илья Николаевич писал: «Необходимо озаботиться заменой неудобных во всех отношениях церковных караулок более удобным помещением, потому что в сырых и холодных караулках... нельзя ожидать успешного хода учения... Из всех дисциплинарных средств желательно было бы постепенно выводить из употребления ставление на колени, как меру чисто физическую, а вводить, по возможности, меру нравственного влияния на учеников». Отчет заканчивался сообщением о том, что открыты «педагогические курсы при Симбирском уездном училище с целью приготовления народных учителей».

Шел апрель 1870 года. С юга, со степей родной Астрахани, ломая метровые волжские льды, двигалась на север неодолимая весна.

Илья Николаевич возвращался по берегу Волги домой, и ему вспомнились студенческие годы в Казани. До ледохода всегда медленно тянулось время, а как схлынули вешние воды, так и в родные края собираться пора... Сколько лет с того времени прошло? Шестнадцать лет! Да, быстро время летит. Ему вот уж почти сорок, а он только взялся за настоящее дело. А сколько еще нужно положить труда, чтобы вывести крестьянских детей из темных церковных караулок в светлые классы школ!

Когда Илья Николаевич вернулся домой, там уже хозяйничала соседка-фельдшерица Анна Дмитриевна Ильина. Она, приоткрыв дверь, замахала на него руками: нельзя, мол, нельзя! С Аней и Сашей сидела вся какая-то торжественная няня Варвара Григорьевна. А часа через два, которые показались Илье Николаевичу вечностью, за перегородкой раздался детский крик. Вбежала сияющая Анна Дмитриевна и радостно сообщила:

— С сыном вас, Илья Николаевич! Пожалуйте, посмотрите, какой молодец!..

Имя дали сыну — Владимир.



ГЛАВА ВТОРАЯ

1

Илья Николаевич был за раннее определение детей в школу. По его убеждению, это приучало к дисциплине и систематическому труду. Сам он строго относился к себе во всем, что касалось долга, и с раннего детства старался привить эти качества детям. И хотя он не одобрял классическое образование, но, понимая, что гимназия — единственный путь к университету, посылал детей учиться туда.

— А может, все-таки не будем посылать их в приготовительный класс? — говорила Мария Александровна. — Ведь они мало чему там научатся. Я дома их лучше подготовлю...

— Нет. Пусть идут, — стоял на своем Илья Николаевич, — им предстоит большой труд. И если мы с первых же шагов начнем давать поблажки, это только повредит.

Осенью 1874 года Сашу отдали в приготовительный класс Симбирской гимназии. Ему в то время было неполных восемь лет, и в классе он оказался моложе всех. Многие ребята встретили его с открытой насмешкой. Но когда учителя начали предварительный опрос, вдруг оказалось: Саша и немецкий язык знает и французский, и книги он читал такие, о которых многие и не слышали. Ребята заметили, что новый товарищ не только не кичится, а вроде даже неловко чувствует себя оттого, что знает больше других. Это вызвало желание у всех поближе сойтись с ним, подружить. Его осаждали всевозможными просьбами: одному перевести надо что-то из французского или немецкого, другому задачу решить. Саша всем помогал даже и тогда, когда у него у самого было очень мало времени.

2

Состав класса Саши подобрался очень неровный. Значительно старшие по возрасту товарищи его были менее развиты. Казарменные порядки, царившие в гимназии, толкали их на грубые выходки и проделки не только над своими одноклассниками, но и над учителями. С возмущением Саша рассказывал Ане о жестокости товарищей, о несправедливом отношении учителей к ученикам. Да и Ане рассказывал он это только тогда, когда она, заметив по его особо мрачному виду, догадывалась, что в гимназии произошло что-то неприятное, приставала к нему с расспросами.

— Саша, голубчик, но что там опять случилось?— забравшись в укромный уголок с братом, спрашивала Аня.

— Ничего...

— Да нет же: я ведь по твоим глазам вижу, что у вас что-то нехорошее случилось. Ну? Ну, Саша...

— Право же, ничего особенного. Опять только никто не знал латинской грамматики.

— И что же? Все получили двойки?

— Нет. Пятерки.

— Как же?

— Наглым обманом! Учитель Чугунов, — помнишь, я тебе рассказывал о нем: рассеянный такой и очень добрый старик, — оказалось, толком не слышит. Ну, вот он спрашивает: «В каком падеже это слово?» Они все сговорились и начали выкрикивать только окончание: «и-ительный!» А он, не расслышав, кивает головой, повторяет: «Да, да, творительный. Да, да, винительный». Подло! Я со стыда не знал, куда деваться.

— Как так можно?

— Да это не все. Им лжи мало. Они еще издеваются над стариком. Говорят какую-то фразу очень тихо, громко выделяя те слова, которые, если их одни только понять, придают сказанному глупый и смешной смысл. Конечно, кое-кому удалось, как они выражаются, «поймать старика на крючок». Гром хохота! А он, бедный смущается, удивленно мигает предобрыми глазами и не понимает, почему все так смеются. Нет, Аня, издеваться над человеком преступно! А если для насмешек берется то, что является бедой человека, я уж и слов не нахожу, как это назвать. Ну, а как у тебя?

— Ой, плохо...

— Почему?

— Мне нечего делать. Уроки скучные. У меня сегодня даже голова разболелась. Повторяют, повторяют, и все то, что я давно знаю. И зачем меня заставляют сидеть там? Я умру в этой гимназии!

— Ну как же я учусь?

— У тебя другое дело. Ты сможешь в университет поступить. А мне к чему эти мучения? Я могла бы дома с мамой больше пройти, но ведь гадкий папа!..

— Как можно так говорить, Аня? — строго хмурясь, остановил ее Саша.

В словах Саши было такое серьезное и глубокое

огорчение, что оно подействовало на Аню сильнее самого строгого выговора. Аня, боясь потерять дружбу Саши, принялась, умоляюще заглядывая в его глаза, оправдываться:

— Саша, ведь это так, я не думаю этого в самом деле. Ты веришь мне?

— Верю.

— Пойдем к Волге, а? — Аня взяла брата за руку, не ожидая его согласия, потянула за собой.

8

— Володя, с чем кашу будем есть — с маслом, с молоком?

— Как Саша.

— Володя, пойдешь к Волге?

— А как Саша?

— Володя, прыгнешь в колодец?

— Как Саш... Э-э... Что ты сказала?

— Э-э... — передразнивала его Оля и возмущалась. — Фу, какой ты попугай! «Как Саша! Как Саша!» Точно своей головы нет. Играть я после этого с тобой не хочу.

— И пожалуйста! — нисколько не смущаясь, отвечал Володя: для него Саша был авторитетом. Он горячо любил своего старшего брата и во всем подражал ему. О чем бы с ним ни заговорили, он неизменно отвечал одно и то же: «Как Саша, так и я». Аня и Оля, а иногда и отец подтрунивали над ним, намеренно ставили его в неловкое положение, но ничто не помогало.

Росли и дружили дети в семье Ульяновых по возрастным парам. Аня — Саша, Володя — Оля, Митя — Маняша. Разница в годах между ними была значительная, что и накладывало свой отпечаток на общность интересов. Володя был на четыре года моложе Саши, и ему нелегко было тянуться за братом. Но он старался читать все те книги, которые Саша приносил из карамзинской библиотеки. Обращался к брату за советом, если чего-то не понимал. Саша никогда не отказывал ему в помощи.

Но если Володя учился у Саши, то, с другой стороны, они оба во многом подражали отцу. Они, как и другие дети семьи Ульяновых, не могли не видеть, сколько сил тратит отец на создание сельских школ. А между тем отец считал всю эту напряженную работу простым выполнением долга.

4

Первые годы учебы Саши в гимназии совпали с массовым походом революционно настроенной молодежи «в народ». По представлению народников, в районах Поволжья, Дона, Урала имелись все условия для крестьянской революции. Успеха это «хождение в народ» не имело, ибо являлось по сущности своей утопией.

К концу 1874 года более тысячи юношей и девушек, искренне желавших принести пользу своему народу, были арестованы. Один политический процесс следовал за другим. Революционеров заключали в тюрьмы, ссылали в Сибирь.

Расправа над революционерами шла наряду с усилением реакции во всех областях жизни страны. Работа учебных заведений перестраивалась по новым уставам, призванным оградить молодежь от «революционной заразы». Автор реакционного устава, министр народного просвещения граф Д. А. Толстой, видел «спасение юношества в изучении древних языков и в изгнании естествознания и излишних предметов, как способствующих материализму и нигилизму».

Вместе с «излишними предметами» изгонялись и неугодные, вольнодумные педагоги. На смену им приходили карьеристы. В обстановке полицейского сыска такие люди чувствовали себя в своей родной стихии: они терроризировали учеников на уроках, следили за каждым их шагом, не гнушались перерывать постели и сундучки гимназистов, разыскивая крамольные книги.

В «Инструкции для классных наставников» прямо указывалось на полицейские функции учителей. Им вменялось в обязанность не только преподавать науки,

но и воспитывать «уважение к закону и исполнителям его, привязанность к государю и отечеству и в особенности чувства религиозного». В инструкциях и распоряжениях постоянно повторялось грозное предупреждение, что «классные наставники... наравне с директорами и инспекторами будут подлежать ответственности, если во вверенном им классе обнаружится на учениках пагубное влияние превратных идей, внушаемых злонамеренными людьми, или даже сами молодые люди примут участие в каких-либо преступных деяниях и таковые их поступки не будут своевременно обнаружены заведением».

Об этих наставниках воспитанник Симбирской гимназии Аполлон Коринфский писал:

В угрюмом застенке «классической» школы
Я помню вас всех, как сейчас,
Бездушных, как все вы — наук протоколы
Насильно внедрявшие в нас...

От ваших уроков, от вашей системы
Тупели и гасли умы...
О, как глубоко ненавидели все мы,
О, как презирали вас мы...

Дело дошло до того, что среди учителей появились психически больные люди. Учитель Сердобов несколько лет писал исследование об юсах, да на них и помешался. Каждый урок фонетики он начинал так: старательно выведет на классной доске изображение юсов, отойдет подальше, полюбуется ими и принимается объяснять, не обращая внимания на то, что его никто не слушает:

— Это юс большой, а это юс малый. Какая между ними разница? А вы присмотритесь внимательнее к изображению и увидите: это вот юс большой, а это малый...

Сказав это, Сердобов садился на кафедру, закрывал лицо руками и впадал в бессознательное состояние. Гимназисты свистели, бегали по классу, прыгали через парты, дрались, но он ничего не слышал. Минут через пятнадцать-двадцать приходил в себя, окидывал мутным, невидящим взглядом бурлящий класс, шел к доске, вновь повторял:

— Это юс большой, а это юс малый...

Так проходил весь урок. Случалось, что он и звонка не слышал, и гимназистам приходилось приводить его в чувство. Кончилось тем, что его прямо с урока отправили в психиатрическую больницу.

Большим оригиналом был преподаватель немецкого языка Штейнгауэр. Этот служака никогда не снимал ордена с шеи и страшно любил, когда его называли «ваше превосходительство», хотя был только статским советником. Появлялся он в гимназии раньше всех, уходил позже всех. Чиновничий дух у него был так силен, что он и во время каникул каждый день приходил в гимназию узнать, не нужен ли начальству. Он составил скучное, бестолковое «Практическое руководство по изучению немецкого языка». Оно было в духе времени, то есть не столько облегчало, сколько затрудняло работу в овладении языком, и пришлось по вкусу учебному комитету ведомства императрицы Марии. Об этом он постоянно с гордостью напоминал. По-русски говорил плохо, на уроках кричал, коверкая слова:

— Лентяй! Шорлайтан! Мой руководств с радостью читал ее величество императриц Мария, а твоя голова снов пустой! Пошел вон! Единица. Единица. Ничего не знайт. Единица и еще один единица!

А в конце четверти, вспомнив правила сложения, из трех единиц, поставленных за один ответ, преспокойно выводил тройку.

Работали в гимназии и толковые, прогрессивно настроенные учителя, но начальство под всякими предлогами старалось их выжить. И вполне преуспевало в этом. Так были изгнаны учителя Муратов и Теселкин.

5

Почти каждое лето семья Ульяновых уезжала в деревню Кокушкино. Мария Александровна очень любила эти места. Да и приволье для детей было несказанное! Тут и поход в лес за грибами, и купания, и прогулки на лодках, и шумные игры со сверстниками.

Сборы начинались с ранней весны: готовились удочки, корзинки, папки для гербариев и сотни других вещей, крайне необходимых для жизни в деревне. Каждый строил планы о том, что он сделает за лето. Чем ближе подходил срок отъезда, тем медленнее тянулось время, тем больше все волновались. Но вот, наконец, старшие сдали экзамены, вещи упакованы, пора и в путь! С веселым шумом, с радостно сияющими лицами дети перебегали по трапу на пароход и — прощай надоевший город! Пароход довезет до Казани, а там до Кокушкина рукой подать.

Если у Ильи Николаевича выбиралось несколько свободных дней, он тоже ехал в деревню, настроение праздничной приподнятости детей передавалось и ему. Оживлялась всегда ровная и спокойная Мария Александровна. Возможность вновь побыть в любимых местах радостно волновала ее. Из пыльного Симбирска она уезжала со вздохом облегчения. В городе у нее не было друзей, она чувствовала себя одиноко, а в Кокушкино съезжались ее сестры, с которыми можно отвести душу. Но больше всего она радовалась за детей. На чистом воздухе они поправлялись и к осени возвращались окрепшие, загорелые.

В Казани Ульяновы останавливались у сестры Марии Александровны. Отдохнув немного с дороги, Илья Николаевич нанимал лошадей, и опять начиналась суетня с укладкой вещей на телеги, с распределением мест. Володя, опережая всех, садился на козлы рядом с кучером и, весело смеясь, принимался шутить:

— А что, дядя Ефим, был бы кнут, а лошади пойдут?

— И овес хорошо пособляет, — заправляя щепотку табаку в нос, в тон Володе отвечал дядя Ефим.

— Зачем табак нюхаете?

— А, э-э... Чхи-и! А это, сказать правду, мозги прочищает.

— Слышал, Саша? — оборачиваясь к брату, кричал Володя, озорно сверкая карими глазами. — Чиханье мозги прочищает! Здорово, правда?

После этого Володя говорил, когда кто-нибудь при нем изрекал глупость: «Чихни», — что значило: прочисть мозги.

Каждый раз, подъезжая к Кокушкино, дядя Ефим говорил:

— Гляжу я на вашу деревнюшку и думаю: что за чудо — така она махонькая, да така развеселая. Обратно даже вертаться не хочется. Ей-ей, чистую правду сказываю.

Кокушкино действительно было очень живописным. Стояла деревенька на высоком берегу реки Ушни. У самого обрыва громоздился старый дом, а через дорогу от него — флигель, окруженный садом. От мельницы к дому тянулся изрядно заилившийся пруд, из которого Саша таскал лягушек для своих опытов. И не только пруд был запущен — все постройки приходили в ветхость, так как не было средств на ремонт. В старом доме печи дымили, крыша протекала, и, как только налетала гроза, все комнаты заставлялись тарелками и ведрами. Прогнившие мостики к купальне проваливались, дырявая лодка тонула.

Однако эти неудобства совсем не замечались, и «махонькая деревнюшка» казалась Саше самым красивым уголком на земле. И если кто-нибудь начинал хвалить другие места, он недоверчиво и ревниво спрашивал:

— Неужели там лучше, чем в нашем Кокушкино?

Отдыхать, в смысле праздно проводить время, Саша совсем не умел. Освободившись от надоевшей латыни и древнегреческого, он с жаром брался за свои любимые естественные науки. В Кокушкино он приезжал со связками книг. Вставал рано и каждое утро, никогда не отступая от этого правила, проводил за занятиями. Чтение подкреплял опытами: препарировал лягушек, собирал и изучал под микроскопом разных червей. Делал он все серьезно и с непреходящим увлечением.

Илья Николаевич говорил ему порой:

— Летом надо больше все-таки отдыхать.

— Ты же сам не раз говорил: любимый труд — самый лучший отдых.

— Верно. Но все имеет свою меру. Вот сегодня ты во сколько встал?

— В четыре. И убедился, нужно вставать еще раньше! На восходе солнца особенно хорошо работается. Тихо вокруг. Кукушка где-то далеко подает голос. И все тайны природы кажутся как-то ближе, понятнее...

Илья Николаевич слушал сына, смотрел на его бледноватое лицо с крупными выразительными чертами, на большие черные глаза, светящиеся тем озарением, которое свойственно только людям, способным с фанатичным увлечением отдаваться любимому делу, и убеждался: у Саши все есть для того, чтобы стать ученым.

Все население Кокушкино часто ходило в лес по ягоды и грибы. Но если народу набиралось уж очень много, Саша не приставал к компании: он не любил шума и суеты. Он даже прогулки использовал для своих занятий: то гербарии собирал, то коллекции яиц. Но когда со старшими детьми в Черемышевский лес шел Илья Николаевич, Саша тоже откладывал книги: прогулки с отцом всегда были очень интересны. Отец пел студенческие песни своего времени. Одну из них Саша особенно любил и, как только они уходили подальше от деревни, просил:

— Давай споем «По духу братья мы с тобой»...

И когда отец, мягко картавя, затягивал чуть хрипловатым баском песню, Саша громко и часто не в лад подпевал ему:

Любовью к истине святой,
В тебе, я знаю, сердце бьется,
И, верю, тотчас отзовется
На неподкупный голос мой...

6

Как рано Саша, бывало, ни встанет, а на реке уже чуть проглядывает сквозь молочную пелену тумана фигура человека. Лодки в тумане не видно, а потому и кажется: человек не плывет, а медленно идет по воде. Такое впечатление усиливалось еще и тем, что че-

ловек этот больше походил на пророка, чем на сельского рыбака: у него длинные вьющиеся волосы с проседью, высокий лоб, рассеченный глубокой морщиной, глаза грустно-скорбные и всегда устремленные куда-то в одну ему видимую даль...

Саша осторожно спускается с обрыва к реке. Ему хочется поговорить с рыбаком, но тот проплывает мимо, не замечая его. Саше вдруг приходит мысль: а ведь и жизнь этого удивительного человека похожа на его призрачное движение в тумане.

Карпий жил в соседней с Кокушкино деревне Татарской. Его старая, покосившаяся от времени изба почти всегда пустовала: хозяин неделями пропадал то на охоте, то на рыбалке, то где-то на заработках. Жалкий, сиротливый вид избы, заросшей по самые окна бурьяном, лучше всяких слов говорил о том, как неуютно живется здесь ее хозяину. Саша часто заходил — сначала с отцом, а потом и сам — к Карпию, с которым можно было поговорить на любую тему. Всевозможных историй он знал бесконечное множество и рассказывал так интересно, что Саша слушал его, боясь шелохнуться. Речь свою Карпий пересыпал пословицами и поговорками. Но делал он это не ради красного словца: он в них вкладывал те мысли, которые нельзя было высказать прямо. Даже на традиционный вопрос Саши, как идут дела, он отвечал со своей неизменной мягко-иронической улыбкой:

— Живу, как блин на поминках: и масла много, и слопать могут...

После каждой удачной охоты или рыбалки Карпий появлялся в Кокушкино с добычей. Просил он за рыбу и дичь гроши и страшно конфузился, если его заставляли брать больше.

— Куда столько? — пугался он, отступая к порогу. — Мне бы на порох... Его только и нужда покупать... Э-ха!.. — вздыхал он, видя, что никак уж не отказаться, и, неловко комкая бумажку, философски заключал: — От них вот все и беды наши...

Илья Николаевич часто приглашал Карпия к себе в кабинет и подолгу беседовал с ним. Карпий прожил трудную, полную лишений жизнь. Будучи человеком

очень вольнолюбивым, он не выносил унизительного положения раба и несколько раз убегал от помещика, но его ловили, возвращали обратно и, жестоко выпоров кнутом, опять заставляли тянуть ненавистную лямку рабочего скота. У Саши кровь закипала в сердце, когда он слушал эти рассказы Карпия.

— А сейчас что? — говорил, хмурясь, Карпий. — Одна только перемена: тогда продавали души нашего брата за медный грош, а теперь их за тот же грош покупают. Вот и выходит: хоть верть-круть, хоть круть-верть, а все равно в черепочке смерть. А какая сила гибнет? Подумать просто страшно! Для того чтобы человек мог сделать то, ради чего на свет родился, ему нужна полная воля. А у нас так: одно дают, другое отбирают, а третье и вовсе запрещают. Или и еще что-нибудь похуже, — добавлял после паузы Карпий. — Все у нас нужно делать с позволения начальства, точно мудрее его уж никого и на свете нет. Но всем же известно: по разрешению человек не может быть ни вольным, ни смелым. И я очень понимаю тех, кому воля жизни дороже.

Саша научился у Карпия ловко управлять лодкой-душегубкой и днями пропадал на реке. Как-то Аня упросила его, чтобы он и ее взял с собой. Саша не мог отказать, и они поплыли вдвоем. Утро было теплое, солнечное. День разгорался хороший. Но к обеду налетел ветер, небо затянуло тучами, начал накрапывать дождь. Ни плаща, ни зонтика Аня не захватила, а была простужена, и Саша забеспокоился.

— Очень замерзла? — тревожно спрашивал он, со всех сил налегая на весла.

— Ничего...

До Кокушкино было еще далеко, и Саша предложил:

— Давай пристанем в Татарском и зайдем к Карпию?

— Хорошо, — согласилась Аня. — Я давно хочу посмотреть, как он живет. Вчера, когда он ушел от нас, отец сказал маме: «Вот настоящий поэт и философ». Это его изба? Странно, но я почему-то такой ее и представляла...

— Бежим! — схватив ее за руку, крикнул Саша.

Гроза, полыхая молниями, подошла к деревне, и хлынул дождь.

— Э, каких гроза мне гостей пригнала! — удивленно воскликнул Карпий. — Вот уж истинно, как в сказке: «И послал царь огонь да царица водица на землю-матушку чудо капелек—дочерей своих. И заполыхали на земле капельки эти цветами-красавицами несказанными...» О, как вы, барышня, кашляете! Садитесь ближе к огню, — предлагая Ане единственную табуретку, говорил Карпий, — а я только с рыбалки вернулся, уху наладил, да такую, точно по заказу: из ершей, из окуньков. Слышите, каким она ароматом дышит? Сейчас я вас угощу...

Аня дрожала от холода, она сильно промокла, и обжигающе-горячая уха показалась ей очень вкусной.

— Вспомнилась мне одна история, — начал рассказывать Карпий. — Давно это было, а до сих пор у меня те дети перед глазами стоят. Ходил я с отцом в Казань на ярмарку. При царе Николае это еще было. На обратной дороге нас дождь так вот, как вас, накрыл. Свернули мы с тракта к одному знакомому мужику. Заходим в избу — что за оказия: полно ребятишек. В солдатских шинелях. Все мокрые, грязные, замученные. И по обличью видать: не наши, не русские. «Где ты, Матвей, — говорит отец, — их подобрал?» Матвей только рукой махнул. Что ж оказалось: то под конвоем гнали куда-то жиденят, как самых последних арестантов. Зашел тут и солдат-конвоир с сухарями. Оделил всех. Они взяли сухарики, гляжу — ах, господи! — у многих-то и силенки недостает откусить от того сухаря. У меня и сердце кровью зашлось. «За какие же грехи смертные на них такая кара наложена?» — спрашивает отец солдата. «А про то начальству, мол, лучше знать». — «Да они же помрут все!» — говорит отец ему. «Видно, так, — отвечает солдат, — мы уж половину, почитай, похоронили, а дороге-то конца не видно...»

Карпий встал, тряхнул большой седой головой, прошелся несколько раз из угла в угол по тесной

комнатке и только тогда продолжал. В голосе его звучали уже не боль и страдание, а неистовый гнев.

— Не успели эти мученики отогреться и сухари погрызть, как кто-то постучал в окно и крикнул: «Строиться!» Дождь моросил, грязь была непролазная, а маленькие каторжники, зажав сухари в ручонках, брели прямо в могилы свои. Мы с отцом, сами не зная зачем, тоже пошли за ними. Уже за околицей упал один в лужу и начал барахтаться, стеная, как слепой кутенок. Отец кинулся поднять его. Но тут другой упал, третий...

Гроза, побушевав над деревней, отступала к Черемышевскому лесу. Глянуло солнце, и капли на окне заискрились. За рекой огромной подковой вставала радуга. Трава, кусты, деревья — все так сверкало, что больно было смотреть.

— Благодать-то какая! — вздохнув всей грудью, радостно воскликнул Карпий. — Люблю! И грозу и радугу. И когда гляжу на всю эту красоту господню, так здесь вот, — он обхватил руками свою широкую грудь, — и теснится что-то такое, а слов не хватает, чтобы сказать... Так заходите при случае.

— Спасибо, — ответил Саша и крепко пожал руку Карпия. Он всю дорогу молчал и, только когда причалил в Кокушкино, сказал: — Славный человек.

— Изумительный! — восторженно отозвалась Аня, которой давно хотелось сказать свое мнение, но она не решалась, видя, с какой глубокой сосредоточенностью Саша обдумывает разговор с Карпием. — Я просто влюблена в него! И как жаль, что жизнь его сложилась трудно...

— А почему? — с несвойственной ему резкостью воскликнул Саша. — Кто виноват? Кто тех детей замучил? Кто в тюрьмы сажает лучших людей? Кто в Сибирь их гонит? Царь, вот кто! И не зря в него стреляют!

7

Звонок давно уже затих, а учитель латинского языка Пятницкий не торопится отпускать шестой класс. Презрительно морща худое, желчное лицо, он

продолжает задавать каверзные вопросы потеющему у доски Вале Умову.

— Так-с... — цедит он сквозь редкие гнилые зубы и, наслаждаясь собственным красноречием, ядовито спрашивает: — Вы сами, если, разумеется, не секрет, сделали сие открытие или, быть может, у кого-то позаимствовали? Гм... Судя по тому, как скромно вы молчите, надо полагать, человечество обязано вам, не так ли? Очень хорошо-с. Одно только жаль: ваше открытие, уважаемый, опоздало ровно... Волков, может, вы мне поможете подсчитать, на сколько столетий опоздало это открытие?

— Мне кажется, уже звонок был, — хмурясь и неохотно подымаясь с места, отвечает Волков.

— Благодарю вас. И прошу, извольте пройти вместе со мной к директору. А в журнал я вам ставлю единицу. Вот так-с... Садитесь, Умов. Вас я вынужден порадовать нулем...

— За что же? Я сделал перевод...

— Хорошо-с... Чтобы вы не завидовали Волкову, ставлю и вам единицу по поведению. До свидания, господа!

Стук закрытой Пятницким двери отдался в классе неистовым взрывом негодования. Все закричали, воинственно размахивая руками. В первые минуты голоса сливались в общий гул, и только после того, как страсти утихли, Саше удалось разобрать, что кричит Волков:

— Избить! Предлагаю избить!

— Освистать!

— Тише, друзья!

— Предлагаю...

— Избить!! — громче всех кричал Волков.

За шумом никто не слышал звонка, и все утихли только тогда, когда в дверях появился новый учитель.

После уроков все пошли к Волге и, перебивая друг друга, строили планы мести своему ненавистному врагу. Решили так: не отвечать на вопросы Пятницкого. Отказываться спокойно, вежливо, но — это предложил Саша — урок знать назубок.

Первые ноли и единицы Пятницкий поставил

с большим наслаждением. Но когда на ногах стояла уже половина класса, а вновь вызванные продолжали отказываться отвечать, он почувствовал, что затеяно что-то недоброе. Пристальным взглядом своих маленьких вечно красных глаз он обежал всех, спросил:

— Кто может ответить?

Все только головы опустили ниже.

— Ульянов! Прошу! — забыв о ехидно издевательском тоне, крикнул Пятницкий.

Саша встал и, не поднимая глаз, тихо промолвил:

— Извините, но я... не могу отвечать.

— Что-о?!

— Я не могу отвечать, — тихо, но твердо повторил Саша.

— Почему?

— Так...

— Значит, вы тоже не знаете урока?

— Знаю.

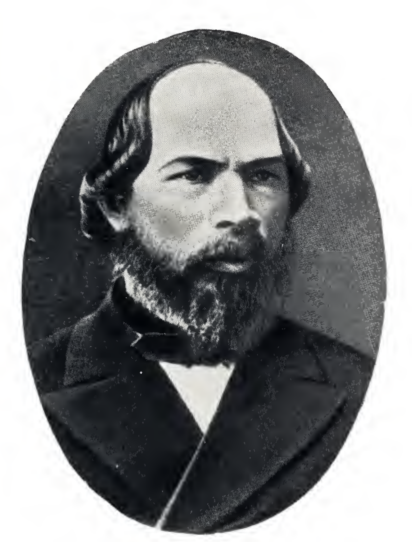
— А-а... Господа изволят бунтовать! Превосходно! Садитесь! Вста-ать! — наливаясь кровью, заорал Пятницкий. — Садитесь! Встать! Встать! Встать! — топая ногами, кричал взбесившийся Пятницкий, но гимназисты, победно улыбаясь, продолжали сидеть.

Кончилась эта борьба тем, что Пятницкому пришлось уехать из Симбирска. Но на новом месте, в Саратове, его все-таки избили гимназисты.

В 1880 году в Симбирске стараниями Ильи Николаевича было открыто женское начальное училище. Вере Васильевне Кашкадамовой было предложено место учительницы. Знакомые говорили ей:

— Ульянов строгий, требовательный начальник. Ему трудно угодить. Он и сам работает с отдачей всех сил и другим поблажек не дает.

Наслушавшись таких разговоров, Кашкадамова с дрожью в сердце шла на свидание с Ильей Николаевичем. Разыскав на Московской улице небольшой дом Ульяновых с веселыми, уставленными цветами окнами и зеленой, как весенняя травка, крышей, она несколько минут стояла у калитки, прежде чем ре-



Илья Николаевич Ульянов.



Мария Александровна Ульянова.

шилась открыть ее. Во дворе ее встретила невысокая, просто одетая женщина с красивым, приветливым лицом. Она мягко и, как показалось Вере Васильевне, ободряюще улыбаясь, сказала:

— Вы к Илье Николаевичу?

— Да.

— Пойдемте, я провожу вас.

— А может, он занят, так я после...

— Нет-нет, он говорил, что ждет вас.

— Ждет?! — испугалась Вера Васильевна. — И давно?

— Нет. Он только что вернулся. Прошу вас, — продолжала Мария Александровна, пропуская Веру Васильевну в гостиную. — Я сейчас скажу ему. — Она легкой, бесшумной походкой приблизилась к двери, тихо постучала. — Илья Николаевич, к тебе гостья. Можно?

— Да, да, пожалуйста, — послышался из кабинета глухой басок, и в дверях показался Илья Николаевич.

Вера Васильевна глянула на строгую складку меж бровей, встретилась с пристальным взглядом его глаз и совсем оробела. Как и предсказывали ей знакомые, Илья Николаевич встретил ее суховато, официально. Она сидела у его стола на черном мягком кожаном кресле и чувствовала себя провинившейся ученицей. После первых общих вопросов он начал спрашивать, какую педагогическую литературу она читает. Она назвала несколько книг и по выражению лица его поняла, что мало читала. Думала, что Илья Николаевич станет выговаривать ей за это, но он ничего не сказал. А в конце беседы заметил:

— На нас, учителей, возлагается огромная ответственность, требующая постоянной и упорной учебы.

— Я и не знаю... смогу ли справиться, — начала Вера Васильевна, — может, эта работа совсем не по мне?..

— Справитесь, — ответил Илья Николаевич. — А трудности... — Он с улыбкой взглянул ей в глаза и вдруг спросил как-то задушевно: — Вы думаете, у меня их нет? Есть! И немало!

Долго они в тот день беседовали, и Вера Васильевна ушла успокоенная, довольная тем, что ей придется работать с Ильей Николаевичем.

Вера Васильевна так привыкла к постоянным советам Ильи Николаевича, что, если случалось, он не появлялся в училище несколько дней, сама шла к нему. Нередко вопросы были незначительны, а то и просто мелочны, но Илья Николаевич всегда терпеливо выслушивал ее. Вышел учебник Евтушевского, Вера Васильевна залпом прочитывает его и бежит к Илье Николаевичу обсуждать. Появилась статья в журнале — опять к нему. Нередко случалось, в самый разгар спора дверь кабинета тихо отворялась, и Мария Александровна с улыбкой спрашивала:

— Илья Николаевич, скоро вы кончите?

— Сейчас, сейчас!

— У нас самовар давно уже готов.

— Очень хорошо! — отодвигая учебник и вставая с кресла, обрывал Илья Николаевич спор. — Идемте, Вера Васильевна, чай пить.

И тут закон: деловые разговоры никогда не выходят за порог кабинета. В столовой, где собиралась вся семья, Илья Николаевич словно преображался: весело смеялся шуткам, рассказывал школьные анекдоты, которых он знал множество. Громче всех смеялись Володя и Оля.

— А где же Саша? — спрашивал Илья Николаевич, заметив, что старшего сына нет за столом.

— Он у себя, — докладывал Володя, — закрылся и какой-то опыт делает.

— Дым в окно валит, точно там пожар, — говорила Оля.

— Истинный алхимик, — с добродушной улыбкой замечал Илья Николаевич. — Но чай, насколько я знаю химию, никаким опытам не может повредить. Ну-ка, кто позовет его?

— Я! Я! — кричали в один голос Володя и Оля и, перегоняя друг друга, бежали наверх, в комнату Саши. Слышался топот их ног по лестнице, стук в дверь, и вскоре они, торжествуя, вводили за руки своего любимого брата. Саша, увидев Веру Васильев-

ну, смущенно раскланивался. В общем разговоре он почти не принимал участия, и по внутренне сосредоточенному выражению лица его было видно: мысли его заняты прерванной работой.

— Ну, как скоро золото добудешь? — подтрунивая над Сашей, спрашивал Илья Николаевич.

— Скоро, — в тон ему, без тени обиды отвечал Саша.

— И сколько?

— Да пуда три.

— О! Так много? — кричал Митя, приняв весь этот разговор всерьез. — Что ж ты с ним будешь делать?

— Отдам нищим два пуда, пуд — тебе.

Все весело смеялись, а Саша, воспользовавшись этой минутой, вставал из-за стола, уходил к себе.



ГЛАВА ТРЕТЬЯ

1

Влияние Саши на меньших сестер и братьев (да и старшую Аню) было очень заметным. Прислушивались к его мнению и родители. Он высказался против того, чтобы Володю отдавали в приготовительный класс гимназии, и родители согласились. А ему в то время было всего двенадцать лет!

Саша не терпел, когда кто-то пытался не убеждением, а силой повлиять на него, и никогда сам так не поступал. Это чувствовали те, кто общался с Сашей, и радостно тянулись к нему, готовы были, как говорил младший брат Митя, в огонь и в воду идти за него.

С детства Саша отличался большой вдумчивостью. Он обо всем старался составить свое мнение, каких бы трудов это ему ни стоило. Но если уж он уяснял какую-то идею, увлекался ею, он отдавался ей со всею страстью души.

Но было бы неправильно думать, что только влияние Саши сказывалось так ощутимо в семье. Нет. Талантливая семья Ульяновых была очень дружной. Развитие всех детей шло в ней гармонично. Все они постоянно обогащали и дополняли друг друга. Такая обстановка общего духовного единения играла огромную роль в становлении характеров, в формировании общественных идеалов.

Мария Александровна все силы ума и души безраздельно отдавала детям. Подмечая плохие черточки в характере детей, она очень терпеливо и настойчиво боролась с ними. Она не только не прибегала к наказаниям, но даже голоса не возвышала, а дети беспрекословно слушались ее. Дети любили ее, учились у нее спокойствию и выдержке.

Саша никогда не слышал, чтобы отец и мать спорили и не сходились в чем-то. Если так даже и было, то дети об этом не знали. Перед ними отец и мать выступали «единым фронтом». Вообще же отец и мать проявляли исключительное внимание и заботу друг к другу. Постоянное согласие родителей, их нежная дружба создавали ту обстановку общего душевного спокойствия, в которой так хорошо жилось и работалось всем.

2

Илья Николаевич не имел особой канцелярии и всех принимал дома. Канцелярские дела он тоже вел сам. В дверь его кабинета постоянно стучали рассыльные, учителя, учительницы, крестьяне. Однажды Саша засиделся с отцом за шахматами. Часы в столовой пробили уже одиннадцать, когда послышался стук в дверь.

— Я посмотрю, кто там, — встал Саша.

— Нет-нет, — остановил его отец. — Я сам. Это, видимо, ко мне, что-то экстренное.

Он вышел и вскоре вернулся с телеграммой. Надел очки, прочел и озабоченно нахмурился, потирая лоб.

— Мда-а...

— Что случилось?

— Заболел один учитель. Тиф. Посылали в Покровское за врачом, а тот ехать отказался. Мда-а... Вот она, Саша, жизнь народного учителя. Никому до него нет дела. Получает он гроши — одному учителю за год земство выплатило всего сорок три копейки жалованья! — ютится в угарных, промерзающих насквозь сторожках, воюет со старшиной, с попом, с писарем, с мироедами даже за право песни петь с ребятами в школе. Именно за эту любовь к делу на него ополчаются все. Ему никак не могут простить то, что он вышел победителем в борьбе с законоучителем — человеком тупым, злобным, вечно пьяным и скандальным. И вот они хотят всякими правдами и неправдами выжить его.

— Куда ты, папа? — спросил Саша.

— На телеграф. Нужно сейчас же сообщить, что я приму все меры.

— Давай я схожу.

— Нет, я сам. Возможно, мне удастся с кем-то из земства переговорить. Дело ведь не терпит отлагательства.

— Я провожу тебя.

— Хорошо.

Ночь стояла тихая, но такая темная, что в двух шагах ничего не было видно. Взявшись под руку, Илья Николаевич и Саша с трудом добрались до телеграфа. Увидев Илью Николаевича, дремавший телеграфист засуетился.

— Зря волновались, — улыбаясь, говорил он, — ночью там все равно никто телеграмму не понесет. Это я доподлинно знаю. Доставят ее только завтра.

— Только завтра... — говорил про себя Илья Николаевич, уходя с телеграфа. — А когда же к нему врач доберется? Нет, придется все-таки сегодня побеспокоить...

Долго Илья Николаевич и Саша стояли у подъез-

да председателя земской губернской управы. Наконец из-за двери послышался заспанный, раздраженный голос швейцара:

— Кого там носит?

— Откройте.

— Илья Николаевич? — узнав по голосу посетителя, спросил швейцар, распахивая дверь. — Простите, ваше превосходительство. Никак не думал. Никак не предполагал в такой поздний час... Проходите, ради бога... Прикажете доложить?

— Что случилось, Илья Николаевич? — запахивая на ходу халат, испуганно спрашивал председатель управы.

— Один учитель заболел. Тиф.

— И только? — удивленно поднял брови председатель. — А я, простите, думал, город опять горит.

— Он в тяжелом состоянии, — не обращая внимания на иронию председателя, продолжал Илья Николаевич, — а врач отказался посетить его. Я прошу вас, дайте распоряжение, чтобы врач немедленно выехал к больному.

— Хорошо, — сухо ответил председатель, — я завтра дам телеграмму.

— Я буду вам очень обязан, если вы сделаете это сегодня, — мягко, но настойчиво продолжал Илья Николаевич.

— Если вы так желаете, извольте! Никифор, подай мне бумагу и чернила! — председатель быстро написал текст телеграммы, сердито сунул ее швейцару: — Снеси сейчас же на телеграф!

— Я сам это сделаю, — сказал Илья Николаевич, — мне почти по пути.

— Как угодно.

— Прошу извинить за беспокойство. Потревожить вас я решился только потому, что боялся: завтра может быть уже поздно. Покойной ночи!

Вернувшись домой, Илья Николаевич долго не мог успокоиться, и Саша, уже засыпая, слышал, как он ходил тяжелыми шагами по кабинету, кашлял. Утром Саша проснулся рано, но отца уже не было дома. Вернулся он только к вечеру, усталый, но до-

вольный. Врач поехал к больному и будет через день навещать его.

Учитель Волков вскоре поправился и приступил к занятиям.

3

В те редкие дни, когда поездка Ильи Николаевича выдавалась удачной, он возвращался домой веселый и счастливый. Он весь светился, смеялся, шутил. Обстоятельно, не замечая, что повторяется, рассказывал, как ему удалось сломить упрямство местных властей и добиться денег для новой школы. Саша слушал отца, и ему невольно казалось: нет на свете более важного дела, чем строительство школ. Он радовался за отца, за ребят, которые будут учиться.

— Я только учительницей пойду, — горячо говорила Аня, — это сейчас самое главное! Самое трудное! Мне рассказывали об одной учительнице. Она не только учила ребят, но собирала крестьян по вечерам, читала им книги, рассказывала обо всем. Но тут кто-то донес на нее. Приехали с обыском, принялись допрашивать перепуганных крестьян. И хотя все только хвалили учительницу, ее все-таки арестовали. Когда ее увозили, вся деревня плакала! Ну, разве это не героиня?

После ужина Илья Николаевич приглашал Сашу к себе в кабинет сыграть партию в шахматы. Расставляя фигуры, спрашивал доверительным тоном:

— Как занятия?

— Отлично, — коротко отвечал Саша.

— Что нового прочел? Или все Пушкина штудируешь?

— Нет. Забросил.

— Надолго ли?

— Совсем.

— А-а, понимаю, — весело прищурился Илья Николаевич. — Ты Писарева прочел.

— Да, — немного смущенно, как бы стыдясь смены мнений под чужим влиянием, ответил Саша и сделал ход, чтобы отвлечь отца от этого разговора.

В детстве Саша без конца мог перечитывать сти-

хотворения Пушкина и яростно спорил с Аней, которая предпочитала Лермонтова. Но после того как он прочел Писарева, его любовь к Пушкину значительно охладела.

Восторженный отзыв Писарева о романе Чернышевского «Что делать?» так взволновал его, что он не мог оставаться один в комнате и, хотя уже было поздно, пошел к Ане.

— Аня, ты отдыхаешь?

— А что случилось? — увидев Сашу, спросила Аня.

— Послушай! — не отвечая на ее вопрос, сказал Саша с той торжественностью, с которой преподносятся необычные открытия. — «Всем друзьям и врагам этого романа одинаково известно, что он произвел на читающее общество такое глубокое впечатление, какого не производило до сих пор ни одно творение патентованных поэтов».

— Очень хорошо сказано!

— А какие тут точные мысли о страстной, безграничной, даже безумной любви к идее! Слушай: «Если вы хотите собрать самые крупные и рельефные примеры тех странных отношений, которые могут существовать между человеком и идеей, то вы должны будете обратиться не к художникам, а к исследователям или к политическим деятелям. К чести человеческой природы вообще и человеческого ума в особенности надо заметить, что до сих пор, кажется, ни один человек не пошел на смерть за то, что он считал красивым, и, что напротив того, нет числа тем людям, которые с радостью отдавали жизнь за то, что они считали истинным или общеполезным. У искусства не было и не может быть мучеников. Наука и общественная жизнь, напротив того, уже давно потеряли счет своим мученикам».

— Как у искусства нет мучеников? — горячо запротестовала Аня, не перестававшая мечтать о поэтических лаврах. — А Радищев? А Чернышевский? А сам Писарев?

— Они были в первую голову политическими деятелями.

— Да, но выражали они свои мысли через литературу, через искусство!

— Верно. Но искусство было для них только формой выражения своих идей. Да и стихи есть разные. Одни звучат, как набатные колокола, а другие убаюкивают, усыпляют и без того дремлющую гражданскую совесть. И тот же Гейне, которого ты так боготворишь, говорил, что его совсем не волновало то, хвалят или бранят его песни, но он всегда желал, чтобы на его могиле лежал меч, так как он считал себя вечным солдатом, воюющим за благо человечества. А как точно Писарев говорит о Рахметове! Слушай. «Такие люди, как Рахметов, только тогда и там бывают в своей сфере и на своем месте, когда и где они могут быть историческими деятелями; для них тесна и мелка самая богатая индивидуальная жизнь; их не удовлетворяет ни наука, ни семейное счастье; они любят всех людей, страдают от каждой совершающейся несправедливости, переживают в собственной душе великое горе миллионов и отдают на исцеление этого горя все, что могут отдать».

— Изумительно! — восторженно воскликнула Аня. — Я отказываюсь брать уроки музыки. У меня, может, действительно, как говорит Писарев, больше способностей шить башмаки, чем играть на фортепьяно. И в Москву на выставку не поеду: довольно того, что я и так до сих пор сижу на шее у родителей. Не знаю только, как мне эту беду одолеть. Я не могу прочитывать каждый день даже по пятьдесят страниц, а Писарев говорит: тот, кто не прочитывает ежедневно до ста страниц, никогда не будет образованным человеком!

Когда Саша и Аня закончили чтение произведений Писарева, ощущение было такое, словно они расстались с необыкновенно мудрым и обаятельным человеком, который помог им многие явления жизни увидеть как бы в другом и в то же время в желанном свете. Многое из того, над чем они раздумывали, в чем сомневались, точно отфильтровалось: одно начисто отметалось, другое становилось законом для дальнейшей жизни. Писарев возбудил в сердцах еще

большую ненависть ко всякому произволу и насилию, укрепил уверенность в том, что светлое будущее народа не мечта идеалистов, а историческая реальность.

— Всего за каких-то семь лет и так много он сделал! — восхищенно говорила Аня. — Да еще столько лет просидел в Петропавловской крепости.

— А Чернышевский? Разве он не в той же крепости написал «Что делать?»? Страшно подумать: всех, кто с наибольшей силой и смелостью говорит правду народу, заключают в тюрьмы, ссылают в Сибирь. Говорят, жандарм, следивший за Писаревым, видел, что он тонет, но умышленно не позвал на помощь.

4

Как-то Аня спросила:

— Саша, а какие, по-твоему, самые худшие пороки?

— Ложь и трусость! — не задумываясь, ответил он.

— А какими хорошими качествами нужно обладать для того, чтобы принести большую пользу людям?

— Честностью, железной силой воли, любовью к труду.

Мысли, как жить, чтобы быть полезным людям, очень рано занимали Сашу. На этот вопрос он искал ответа и в жизни и в книгах. Писарева с такой жадностью читал именно потому, что тот указывал не только пути, которыми должен идти человек, всецело отдавший себя служению одной идее, но и разбирал характеры новых людей. Рахметов, Базаров, Лопухов, Вера Павловна, Кирсанов — вот те люди, у которых нужно учиться жить!

Когда Саше было пятнадцать лет, он в одном из гимназических сочинений на вопрос, что требуется для того, чтобы быть полезным обществу и государству, отвечал так: «Чтобы быть полезным обществу, человек должен быть честен и приучен к настойчивому труду, а чтобы труд его приносил сколь воз-

можно большие результаты, для этого человеку нужны ум и знание своего дела. Честность есть необходимое качество человека, какого рода деятельности он ни предался бы: без нее труд даже умного и трудолюбивого человека не только не будет приносить пользу обществу, но даже может вредить ему. Честность и правильный взгляд на свои обязанности по отношению к окружающим людям должны быть воспитаны в человеке с ранней молодости, так как от этих убеждений зависит и то, какую отрасль труда он выберет для себя и будет ли он руководствоваться при этом выборе общественной пользой или эгоистическим чувством собственной выгоды.

Но честности и желания принести пользу обществу недостаточно человеку для полезной деятельности; для этого он должен еще уметь трудиться, то есть ему нужны любовь к труду и твердый, настойчивый характер.

Трудолюбие необходимо каждому трудящемуся человеку; труд по какому-либо внешнему побуждению не принесет и половины той пользы, которую принес бы свободный и независимый труд. Но для непривычного человека труд всегда кажется чем-то тяжелым и требует внешнего побуждения; поэтому человек должен приучить себя к труду, полюбить его, и труд должен сделаться в его глазах необходимой потребностью его жизни.

Любовь к труду должна простираться не только на легкие и ничтожные вещи, но и на то, что с первого взгляда кажется непреодолимым. Чтобы быть действительно полезным членом общества, человек должен настолько приучиться к настойчивому труду, чтобы не останавливаться ни перед какими трудностями и препятствиями: ни перед теми, которые предоставляют ему внешние обстоятельства, ни перед теми, которые предоставляют ему собственные недостатки и слабости: для этого он должен уметь управлять своей волей и выработать в себе твердый и непоколебимый характер.

Вышеуказанных качеств достаточно лишь для того, чтобы упорно трудиться на пользу обществу, но

человек должен также заботиться о том, чтобы выбрать себе ту отрасль труда, к которой он более всего способен и которая кажется ему более полезной, а также о том, чтобы труд его приносил по возможности большие результаты. Для этого человеку нужны ум и знание. Человек, стоящий на низкой ступени умственного развития, не может ясно понимать, что полезно обществу, и не может, следовательно, приносить действительной пользы... Но и верно направленный труд умного и трудолюбивого человека может приносить разные результаты, смотря по тому, насколько производительно он выполняется.

Для того чтобы деятельность человека приносила полезные результаты при возможно меньшей затрате труда и сил, для этого человеку нужно основательное знание того дела, которое будет предметом его занятий. От степени образованности вообще и в частности от знания своего дела много зависит та польза, которую принесет человек обществу».

Зрелые по мысли рассуждения Саши о месте человека в жизни, о его служении обществу, людям (что в то время значило — народу) были хорошо поняты директором гимназии Керенским. Но в конце листа он вывел аккуратно-чиновничьим почерком «4». А возвращая контрольную Саше, произнес такую нравоучительную тираду:

— В вашем сочинении, Ульянов, есть один существенный изъян, который и вынудил меня занизить балл. Вы всюду пишете: «служение обществу, людям» — и не только не подчеркиваете о необходимости служения человека государству, но даже ни разу не упоминаете этого слова. А ведь в определении темы я ясно указал: «чтобы быть полезным обществу и государству». Не нашел я в вашем сочинении также мыслей о преданности престолу и вере, без чего, как известно, не возможна никакая полезная деятельность. Обходите вы молчанием и воспитание любви в человеке к священной особе его императорского величества, о готовности каждого смертного отдать жизнь свою, если это потребуется, за государя. Именно эти вот качества главные, именно их должен вы-

рабатывать в себе человек, если он действительно хочет правдой и верой послужить своему отечеству. Именно без этих непременных качеств человек может оказаться на ложном, пагубном для него пути. Запомните это!

Осторожный и чрезвычайно осмотрительный Керенский сказал далеко не все то, что он думал о сочинении. Он видел, под чьим непосредственным влиянием формировались взгляды Александра Ульянова. Он не мог не заметить, что эта программа включает в себя все требования, которые предъявляют к человеку новые люди. Он понял, что подразумевал Александр Ульянов под теми «внешними обстоятельствами», которые создают трудности и препятствия для деятельности, полезной людям, то есть народу.

В людях Керенский разбирался неплохо и знал: Александр Ульянов принадлежит к тем цельным натурам, у которых слово не расходится с делом.

И действительно, у Александра Ульянова уже сейчас были многие качества, названные в этой, без сомнения, его собственной программе жизни: твердость характера, честность, трудолюбие, самобытный ум, жажда знаний. По своему умственному и нравственному развитию он стоял на голову выше своих старших по возрасту одноклассников. И если он пишет, что честный взгляд на обязанности по отношению к людям должен воспитываться в человеке с ранней молодости, то совершенно ясно: на формирование его общественных идеалов оказали влияние не только книги, но и семья.

Нравоучительное наставление директора гимназии не возымело ожидаемого действия.

Когда разговор касался идейных убеждений, Саша не шел ни на какие уступки. Под влиянием произведений Писарева он рано порвал с религией. Отец, бывший всю жизнь искренне верующим, иногда спрашивал его за обедом:

— Ты, Саша, нынче ко всенощной пойдешь?

— Нет, — отвечал он коротко, но так твердо, что вопросы эти отец вскоре перестал задавать.

5

Когда народовольцы в феврале 1880 года произвели взрыв в Зимнем дворце, на него тотчас эхом отозвались колокола симбирских церквей: то служились молебны о новом спасении государя от гибели. Обыватели истово крестились, верноподданнически бились тупыми лбами о каменные плиты церковных полов, предавая анафеме злодеев. А в ограбленных царем-«освободителем» деревнях, вымирающих от голода, этот ликующий перезвон колоколов воспринимался как новые похороны надежд хоть на какое-то облегчение тяжкой судьбы своей. Жестокая, кровавая расправа «освободителя» над крестьянами деревни Бездна соседней Казанской губернии, восставшими против грабежа и насилий, еще была свежа в памяти народа. И если в той же Бездне крестьяне и брели покорно в церковь, то молились они совсем не о спасении священной особы его императорского величества.

Саша возвращался из библиотеки домой. Не успел он добраться до своей Московской улицы, как во всех церквах города ударили в колокола. Что такое, пожар? Нет, дыма нигде не видно, пожарные не несутся по городу очертя голову. А вот обыватели ведут себя как-то странно: испуганно перешептываются, истово крестятся. Что же произошло? Саша остановился, раздумывая, где быстрее можно узнать это. Конечно же, в гимназии. Только он повернул за угол, к нему подлетел одноклассник Аверьянов.

— Фу-у, я тебя по всему городу ищу!..

— А что такое?

— Страшная новость! — Аверьянов перевел дух, оглянулся и, понизив голос, закончил: — Царя убили.

— Кто?

— Не знаю. Но, говорят, бомбой... В клочья разорвали... Я это слышал у самой канцелярии губернатора. Саша, что ж теперь будет?

Саша молчал. Он и сам не знал, что теперь будет. Неужели пришел час истинного освобождения? Неужели Писарев прав, сказав, что светлое буду-

щее не так неизмеримо далеко, как все привыкли думать?

— Саша, так что же теперь будет? — повторил свой вопрос Аверьянов. — У меня просто голова кругом идет, — продолжал он, видя по напряженно-сосредоточенному лицу друга, что тот сам ищет ответ на этот же вопрос. — А что в гимназии творится! Гул стоит, как в потревоженном улье. Пойдем туда, а?

Саша отказался идти в гимназию. Он побежал на тот Старый венец, где прошли его первые сознательные годы детства. Он был абсолютно уверен, что железные ворота тюрьмы распахнуты и арестанты с криком «Свобода!» обнимаются со своими родными и близкими. Но нет, железные ворота были на замках, а грязное, мрачное здание тюрьмы хранило все ту же гробовую тишину.

Неужели и этот взрыв окажется бессильным, неужели и он не разрушит тюремных стен? Нет, не может быть!

Эти мысли так занимали Сашу, что он не заметил, как прошел поворот на свою улицу, и ему пришлось сделать большой крюк. У ворот дома его встретила взволнованная Аня.

— Где ты был?

— Так... гулял...

— И ничего не знаешь?

— Знаю.

— Папа вернулся из собора такой взволнованный. Он позвал меня к себе, рассказал все. А потом и говорит: теперь еще хуже будет! Я не посмела возражать ему, но... Саша, неужели папа прав? Я не могла дождаться тебя, чтобы поговорить об этом! Ну, что ж ты молчишь?

— Я что-то замерз... — уклончиво, тихо сказал Саша. — Пойдем в дом.

Когда отец, пригласив его к себе в кабинет, завел разговор об убийстве царя, Саша заявил:

— Они правильно поступили.

— Ты хорошо подумал, прежде чем... пришел к такому выводу?

— Да, — твердо ответил Саша.

— Я вот о чем тебя попрошу, — после продолжительного молчания сказал Илья Николаевич. — Постарайся меньше говорить об этом с другими.

— Хорошо.

6

Весь март погода была изменчивая: то солнце по-весеннему грело и радостно звенели ручьи, то вдруг откуда-то с севера налетала пурга и чуть пробудившийся мир опять покрывался снегом, точно белым саваном. А может, это так Саше казалось, потому что и события этого месяца были под стать погоде. То неслись слухи, что всех участников покушения суд оправдает, как оправдал в свое время Веру Засулич, то утверждалось, что злодеи-цареубийцы — верноподданные обыватели, иначе не называли их — будут казнены. Новый царь, дескать, уже подписал указ, и суду осталось только выполнить его волю.

По газетам невозможно было понять истинный ход дела: все они в один голос предавали анафеме цареубийц, все они оплакивали в бозе почившего государя, возводя его в лик святых. Как велось следствие, что выяснилось на нем, точно никто не знал. Один из гимназистов был родственником телеграфиста и, узнав очередную новость, сообщал ее в классе.

В гимназии все время существовали два лагеря: верноподданнический и вольнодумный. До первого марта лагери не имели четкого размежевания. Сейчас же, когда вопрос стал прямо — за кого ты? — лагери настолько определились и споры между ними так накалялись, что нередко доходило до потасовок. В отношении же начальства оба лагеря занимали попрежнему одинаково враждебную позицию, ибо гнет древних языков распространялся на всех без разбора.

Март казался Саше бесконечным. Идут дни, недели, один слух сменяет другой, а ворота тюрьмы закрыты все на тот же замок. У губернаторского дома стоят те же кареты, снуют те же чиновники.

Старый уклад жизни стоит так же нерушимо, как и лед на Волге. Аня пристает с вопросами, но что он ей может сказать, когда и сам толком ничего не знает? Строить догадки, то есть плодить новые слухи, совсем было не в его характере. Аня возмущалась, негодовала, а Саша больше молчал, и только по виду его можно было заключить, что творится у него на душе. Володя, которому в то время было всего одиннадцать лет, тоже не давал ему покоя. Как их будут судить? Кто их предал? Арестовали ведь сразу только того, кто бросал бомбу. Или он и выдал всех?

И вот официальное сообщение в газетах: 26 марта суд. Идут дни, а в газетах ни слова. Что же случилось? Неужели ни слова не скажут о суде, а объявят только приговор? Не может этого быть! Ведь их судит не военный трибунал. А впрочем, теперь уж Сашу ничем не удивишь: он давно понял, что законы писаны далеко не для всех.

Не успели до Симбирска дойти подробности суда, как вот уж и приговор: Желябова, Перовскую, Кибальчича, Михайлова, Рысакова, Гельфман — к смертной казни через повешение.

— Но неужели он и женщин не помилует! — с нервной дрожью в голосе спрашивала Аня. — Ни один ведь русский царь не посылал еще женщин на эшафот.

— История не повторяется, — хмуро отвечал Саша.

— Это ужасно! Одна из них, говорят, ждет ребенка.

Их казнили...

7

На глухой, заштатный Симбирск в Петербурге смотрели как на место ссылки. Сюда отправляли под надзор полиции тех, кто высылался из политических центров страны в административную ссылку. Так попали в Симбирск революционеры А. Кадьян, И. А. Соловьев, П. Горбунов — организатор типографии пар-

тии «Народная воля». Вернулась в Симбирск сидевшая в Ишимском остроге Л. И. Сердюкова, жена Соловьева. Вместе с мужем они начали собирать вокруг себя революционно настроенную молодежь. Деятельность их была замечена полицией. Агент, наблюдавший за ними, писал в докладной: «Как только приехал в Симбирск ее муж, тотчас же его посетили лица, неблагонадежные в политическом отношении. Их знакомство состоит исключительно из лиц, политически неблагонадежных».

В этой же докладной агент указывал, что Соловьев открыл слесарную мастерскую исключительно для маскировки своих революционных дел. Видел агент крамолу и в том, что к сыну Соловьева ходили многие гимназисты. Он просил в корне «пресечь» рассадник крамолы.

Когда в Симбирскую гимназию пришел активный чернопеределец учитель Муратов, он создал политические кружки. Участие в их работе принимали учителя, врачи, гимназисты старших классов и семинаристы. Владимир Иванович Муратов преподавал русский язык и словесность. Он превосходно знал литературу, историю и умел, оставаясь в рамках программы, подавать материал так, что в нем всегда улавливался революционный дух.

Непосредственного участия в занятиях этого кружка Саша не принимал. Но он знал о его существовании и через своего друга Владимира Волкова добывал и прочитывал книги, которые обсуждали кружковцы. Помогал доставать запрещенные книги революционных демократов и сам Владимир Иванович, который с большой любовью относился к Саше. В обстановке круговой слежки и доносов деятельность учителя Муратова не могла долго оставаться секретом для начальства. Его вскоре уволили из гимназии и заставили уехать из Симбирска. Однако кружки, созданные им, не только не прекратили существование, но все больше и больше активизировали свою деятельность.

Идя как-то утром на занятия, Саша заметил недалеко от гимназии группу людей, стоявших у забора.

Среди них было несколько гимназистов. Саша прошел было мимо, но его схватил за руку стоявший там же Владимир Волков и загадочно шепнул, подталкивая к забору:

— Подойди прочти!

— А что там?

— Сам увидишь! Ну-ка, ну-ка, дайте взглянуть! — расталкивая плечом толпу, двинулся к забору Волков. Саша протиснулся за ним и увидел: на заборе приклеен лист бумаги, исписанный от руки крупными печатными буквами. Он прочел первые строки и понял: это прокламация. Он изо всех сил нажал на стоявших впереди его и продвинулся к самому листку.

— Это, это вот место прочти, — говорил Волков, указывая пальцем на строку: «На развалинах нынешней цивилизации тунеядцев пролетариат построит новый мир — мир труда». — Ну? Сильно?

— Постой, я сам, — остановил его Саша, продолжая читать. — «Но для достижения своего полного освобождения ему приходится прежде всего разрушить окончательно эту буржуазную цивилизацию, и только на развалинах ее, из недр освобожденного народа, из среды рабочей коллективности родятся принципы реорганизации этого мира».

Раздался свисток городового. Волков схватил Сашу за руку:

— Мчимся!

Друзья перебежали улицу, нырнули в ворота сада Карамзина и спрятались за «бабой» (так называли гимназисты памятник Карамзину). Они видели, как городовой и еще какой-то суетливый, плюгавый человечишка в черном котелке осторожно, точно то была бомба, принялись отдирать прокламацию, покрикивая на зевак:

— Господа, проходите!

Во время перемены Саша и Волков подошли к забору, но там остались только четыре клочка бумаги — оторванные уголки.

— Чисто сработали! — сказал Волков и весело рассмеялся. — Представляю, какой сейчас там пере-

полох! По всему городу теперь, иавериое, ищут бомбы. Ах, жаль, что иельзя было прибрать эту листовку и дать другим почитать. Чертовски здорово там все сказаио! Именно так надо: все разнести в прах! Все взорвать! А потом уже строить свое.

— Кто это мог писать?

— Есть люди, — иесколько загадочио ответил Волков. — Кстати, я тебя могу позиакомить кое с кем при случае. И книг достать.

— Где?

— Ладио, так и быть, скажу. Ты ведь ие из тех, кто любит болтать. Мы с Аверьяиовым иачали собирать библиотеку. Нам удалось уже достать много иитересиых книг. Чтобы фараоиы иас ие иакрыли, мы решили держать их не в одном месте, а у одного, другого, третьего...

— А что вы мне можете дать? — с загоревшимися глазами допытывался Саша, которому страшио хотелось прочитать миогие из тех книг, о которых он только слышал. — Статья о Дюринге у вас, иапример, есть?

— Есть.

— Слушай, Волков, будь другом: дай хоть на одну иочь. Я, право, не останусь у тебя в долгу.

— Будет сделано! — ответил Волков своей любимой фразой.

— Когда?

— Может, даже сегодня.

— Чудесио! Я буду ждать тебя. Или, может, к тебе зайти?

— Нет. Я прииесу.

Волков сдержал слово: вечером он появился с журиалом. Сунув его Саше под матрац, посоветовал:

— Там и храни. — Весело рассмеялся, продолжал: — Один мне вернул киигу, а она вся в саже. В печиой трубе лежала. Да, ты слышал, какой переполох иаделала та прокламация? В гимиазии какие-то субъекты шиыряли, в паисиоие иаши фараоиы все вверх тормашками переверииули. Хорошо, что я сообразил и ребята почистились, а то хапиули бы

несколько наших ценных книг. Кстати, ты не будешь против, если мы тебе на это время принесем кое-что?

— Зачем спрашиваешь? — обиделся Саша. — Немедленно неси!

— Да мы, признаться, — улыбнулся Волков, — уже притащили их.

— Где же они?

— В сад бросили, под кусты акации. А возле забора Аверьянов дежурит.

— Что же ты молчишь? Пошли! Я их в кухне, в своей химической лаборатории, спрячу. Туда без меня никто не заходит.

Друзья пошли аллейкой сада к калитке, выводившей на Покровскую улицу. Саша заглянул в беседку, нет ли там кого-нибудь из малышей, Волков тихо свистнул. На его свист тотчас же откликнулся Аверьянов. Саша хотел отпереть калитку — она всегда была на замке, — но Аверьянов остановил его:

— Я и так перемахну.

Сложив за печкой книги и замаскировав их штативами с пробирками, Саша пошел проводить друзей.

— Агент видел, — говорил Аверьянов, — гимназистов возле прокламации, и, наверное, думают, что это дело наших рук. Так что нам нужно ухо востро держать.

Вернувшись домой, Саша закрылся в кухоньке и принялся смотреть книги, принесенные ребятами. Тут были: «Прогресс в мире живом и растительном», «Происхождение видов», «Рикардо и Маркс», «Кому принадлежит будущее», «Теория и практика прогресса». У него глаза разбежались при виде такого богатства. Он перелистал все книги, любовно сложил их на место и начал читать в журнале «Слово» статью о Дюринге.

Аверьянов не ошибся: после утренней молитвы директор собрал всех в актовом зале и принялся читать мораль. Говорил он долго, нудно, повторяя на разные лады одно и то же:

— Вы должны выказывать беспрекословное повиновение начальству, благопристойность. Вы должны

следить за поведением своих товарищей и, когда надо, поправлять их, удерживать от неблаговидных поступков и деяний. Ваша святая обязанность исполнять требования религии и церкви, а также благочестивые обычаи.

Законоучитель протоиерей Петр Юстинов согласно закивал широкой бородой: так, мол, так.

— Ваш долг любить свое отечество, боготоворить священную особу государя-императора и все его августейшее семейство!

— Ну, завел... — шепнул Саше Аверьянов, с трудом удерживая зевок. — «Должны, обязаны» — подохнуть можно.

— Вы должны уважать чужую собственность, — продолжал вещать Керенский, — оберегать ее от всяческих посягательств. Наша гимназия гордится тем, что ни один ее воспитанник не был замешан в преступных политических делах, кои ныне все чаще и чаще возмущают общественный порядок. Вчера вблизи гимназии был обнаружен приклеенный на заборе листок с крамольным содержанием. Некоторые из наших учащихся видели его, однако никто не поднял тревоги, не сообщил мне. Более того, все стремились, не понимая, чем это грозит, прочесть листок. Позорное это, преступное любопытство! Я строго предупреждаю: все, кто будет в чем-либо подобном замечен, понесут самое суровое наказание...

После Керенского так же долго и нудно увещевал гимназистов протоиерей Юстинов, грозя обрушить на их головы небесные кары. Затем принялся честить инспектор Христофоров. Сочли своим долгом высказаться и те учителя, которые больше всего на свете боялись, чтобы их не занесли в списки неблагонадежных. Но то было только начало антикрамольной кампании. С этого дня среди урока то и дело открывалась дверь, и в ней показывалась красная усатая рожа помощника классного наставника:

— Волкова к директору! Ульянова к инспектору! Умова к классному наставнику!

Но как гимназистов ни таскали, ничего от них начальству узнать не удалось.

8

Летом 1882 года Илья Николаевич принялся ремонтировать дом. Вся семья сгрудилась в маленьком флигельке. Саша в это время самостоятельно проходил курс химии по Менделееву. Прекращать занятия ему не хотелось, и он стал просить отца, чтобы тот выделил ему маленькую кухоньку для своей лаборатории. Илья Николаевич, относясь с большим уважением к увлечению сына, разрешил ему занять кухню. Саша с таким жаром взялся за работу, что отец и мать начали опасаться за его здоровье. Мать посылала то Аню, то Володю, то Олю за Сашей. Но, несмотря на всю деликатность и решительное неумение отказывать в просьбах другим, вытянуть Сашу из его кельи было не так-то легко. И часто бывало: посланец, увлеченный опытами Саши, застревал в лаборатории.

9

Василий Андреевич Калашников, в свое время готовивший Сашу в гимназию, несколько лет не был в Симбирске. И как только судьба занесла его туда, он в первую очередь пошел навестить Ульяновых. Поговорив с Ильей Николаевичем, расспросив Аню, как у нее идет учеба, где она думает продолжать образование, он похвалил ее, что она готовится стать народной учительницей, и спросил:

— А где же Саша? Уехал в Кокушкино?

— Нет, здесь. Колдует в пустой кухне, — тоном шутки сказал Илья Николаевич. — Пойдемте, я вас провожу к нему.

У флигеля Илья Николаевич потянул носом воздух.

— Слышите? Целыми днями дышит этими газами. Я, знаете ли, не на шутку начинаю беспокоиться о его здоровье. А с другой стороны, как запретить то, к чему лежит душа? Саша, можно к тебе? — постучав в дверь, спросил Илья Николаевич.

— Пожалуйста, — послышался ломающийся басок.

Саша стоял посреди комнаты и рассматривал на

свет дымящуюся пробирку. На печке помигивало синее пламя спиртовки, на подставке стояла колба с бурлящей в ней синей жидкостью. Маленькая кровать, полки из свежевыструганных досок, уставленные книгами, столик с ретортами, колбами и пакетиками с препаратами — вот и вся обстановка.

Увидев Василия Андреевича, Саша радушно улыбнулся, быстро поставил пробирку в реторту и крепко пожал ему руку.

— Рад. Очень рад вас видеть, — пригласил он и, открыв окно, продолжал: — Я часто вспоминал вас.

— Особенно в первые годы учебы в гимназии, — улыбнулся Илья Николаевич.

— Это верно. Трудно было привыкать. Ну, ничего. Остался всего один год.

— А после гимназии куда? — спросил Василий Андреевич. — В университет?

— Да.

— В Казанский?

Саша посмотрел на отца и, помедлив, как бы собираясь с духом, сказал:

— Нет. Думаю, в Петербург. Там вот, — он указал на раскрытую книгу, лежавшую на столе, — и Менделеев, там и Сеченов, и Бутлеров. А в Казани что? Конечно, в студенческие годы папы, когда там был Лобачевский, Казань славилась...

— И долго еще будет славиться! — ревниво вставил Илья Николаевич. — По чугунным плитам дорожек Казанского университета вышел в мир не один ученый, умноживший славу России.

Василий Андреевич слушал Сашу и незаметно рассматривал его. Это был уже не тот мальчик, каким он помнил его, а статный юноша. Бледное лицо, широкий бугристый лоб у надбровий, овитый густыми, крупно вьющимися волосами. Черные, немного грустные глаза светятся глубокой, напряженной работой мысли. Движения спокойные, размеренные. А в тоне голоса, во взгляде чувствуется такая вера в свои силы, что Василий Андреевич невольно подумал: «Будущий ученый. Он достигнет поставленной перед собой цели».

Первый тост был за окончание гимназии. Все чокнулись, проливая вино, и в торжественной тишине выпили.

— Да здравствует свобода! — поднимая вторую рюмку, крикнул Владимир Волков. — Ура!

— Ур-ра!

Тост шел за тостом, закусывать было некогда; пил Саша так много впервые в жизни и начал чувствовать: хмель ударял в голову. Не пить совсем было невозможно, и он крепился, не отставал от всех. Шум стоял невероятный, никто уже никого не слушал, компания разбилась на несколько групп: так было легче каждому провозглашать свои тосты.

— Господа!

— Друзья! Предлагаю! За упокой души злой мачехи латыни!

За этот тост выпили с радостью.

Маленький Леня Саушкин несколько раз порывался сказать тост, но его тонкий голосок тонул в общем гомоне. Наконец он, улучив минуту затишья, вскочил на стул, крикнул:

— За того, кто за весь класс работал!

— За Ульянова!

— Саша, за тебя!

— Саша!..

Все кинулись к растерявшемуся Саше и, выпив, стихли, явно ожидая, чтобы он что-то сказал. Саша, смущенно улыбаясь, молчал. Тогда тот же Саушкин крикнул:

— Ульянову слово!

— Саша, говори!

Наклонив голову, Саша молчал, собираясь с мыслями. Потом обвел всех пристальным взглядом и, выдержав небольшую паузу, начал так, точно думал вслух:

— Я знаю: и нам жизнь тяжкая злую песню будет тянуть:

> Покорись — о ничтожное племя!
> Неизбежиой и горькой судьбе,
> Захватило вас трудиое время

Неготовыми к трудной борьбе.
Вы еще не в могиле, вы живы,
Но для дела вы мертвы давно,
Суждены вам благие порывы,
Но свершить ничего не дано...

Но я, как в жизнь вечную, верую: «Пламя юности, мужество, страсть и великое чувство свободы» никогда не угаснут в наших сердцах! Мы никогда не покоримся неизбежной и горькой судьбе!

— Не покоримся! — хором, точно клятву, произнесли все.

11

Итак, девять лет учебы в гимназии позади. В полученном аттестате зрелости указывалось: дан он Александру Ульянову «в том, во-первых, что, на основании наблюдений за все время обучения его в Симбирской Гимназии, поведение его вообще было отличное, исправность в посещении и приготовлении уроков, а также в исполнении письменных работ отличная, прилежание усердное и любознательность ко всем предметам, особенно к латинскому языку и математике... Педагогический Совет постановил наградить его, Ульянова, золотой медалью...»

Саша испытывал такое чувство, точно он из заключения вышел на долгожданную свободу. Теперь не нужно учить отупляюще действовавшие на него древние языки: можно отдаться любимому естествознанию, химии. Выбор факультета был для Саши делом решенным. Родные тоже одобряли его. Но они не решались отпускать сына далеко от себя. Особенно матери не хотелось отправлять Сашу в Петербург. Она то и дело просила его:

— А ты еще раз все взвесь. Казань и ближе, и жить тебе там есть где, и я спокойнее буду.

— Нет, мама, — мягко, но решительно отвечал Саша. — Мне надо ехать в Петербург. Я чувствую, что только там смогу работать в полную силу. Ну, подумай сама: там ведь все наши лучшие ученые.

— Уж очень грустно мне с тобой расставаться, — со вздохом признавалась Мария Александровна. —

Ты тогда хоть от поездки к этому купцу Скачкову откажись.

— Хорошо. Я не поеду к Скачкову.

Давно Сашу уже тяготило то, что он, старший сын, ничем не может помочь отцу, обремененному большой семьей. Закончив гимназию, он тут же принял приглашение купца Скачкова поехать к нему на все лето домашним учителем. Уступив настойчивому желанию матери (отец тоже просил его провести лето дома), он, страшно не любивший менять свои решения, несколько дней угрюмо хмурился, испытывая угрызения совести за проявленную слабость. Но он не только никого не упрекал и не жаловался, но даже и не упоминал об этом. Побыв немного дома, взял ружье и уехал в Кокушкино. Там он с утра до вечера, а иногда и по ночам пропадал где-то на лодке-душегубке.

Большинство гимназистов стремилось получить такую специальность, которая быстрее всего помогла бы сделать карьеру, подняться по чиновничьей лестнице. Чиновник должен служить царю-батюшке верой и правдой, о чем Саше противно было думать. Он боготворил науку, а потому и выбрал физико-математический факультет, естественное отделение. Один знакомый Ильи Николаевича, выражая удивление выбором Саши, заметил:

— Факультет интересный. Но приложения ведь в жизни никакого нет. Ну, закончит он его, а кем быть? Только учителем?

— Можно и профессором, — просто сказал Илья Николаевич, но гордость за сына светилась в его глазах.

— Да, конечно, — переменив тон, продолжал знакомый с видимым уважением, — он ведь с золотой медалью закончил курс. Это даже обязывает дерзать.



ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ

1

В доме тихо. Слышен только стук часов. Край неба, видный в окно, уже порозовел, а Мария Александровна еще глаз не смыкала. Завтра, нет, теперь, уже сегодня, Саша уезжает. И не в Казань, а в Петербург. Умом она понимает, что он прав, а сердце... Как он будет жить там один? Правда, вслед за ним туда поедет и Аня, но на ее помощь нельзя рассчитывать. Наоборот, Саше придется поддерживать Аню, помогать ей во всем, как это он делал и дома.

Конечно, Марию Александровну, как каждую мать, передающую своих детей на попечение чужим

людям, волновало то, что в Петербурге за ними некому будет присматривать, что они лишатся домашнего уюта, родительского тепла.

Утром Илья Николаевич, заметив следы бессонной ночи на лице жены, спросил с участием:

— Тебе нездоровится?

— Непокойно что-то на душе, — ответила она, тяжко вздохнув. — Все кажется, что в Казани ему было бы лучше. — И, заметив, как нахмурился Илья Николаевич, поспешно добавила: — Я это не в упрек тебе говорю. Мне сейчас просто трудно привыкнуть к мысли, что их надо так далеко отпускать.

— Что ж делать, время берет свое... Да за Сашу я мало волнуюсь: он вполне самостоятельный, а вот Аня... Ей труднее придется. Кстати, на меня довольно косо посматривают все за то, что мы и ее отпускаем на курсы.

— А что же они хотят? — сердито спросила Мария Александровна, вспомнив, как она лишена была возможности получить образование. — Чтобы женщины ограничивались только гимназиями? Или уже есть проект и в гимназии их не принимать?

— Проекта такого нет, но государь, как сказали мне, неодобрительно относится к женским курсам.

— Государь... — Мария Александровна горько улыбнулась. — Пока что он первый из всех царей России признал равноправие женщины только в одном: умереть на эшафоте вместе с мужчинами.

— Да, тяжкое время... И я, как ты помнишь, первого марта еще говорил: хуже будет. Все теперь в народных школах признается излишним: и объяснительное чтение и сообщение сведений из окружающего мира. Скоро, видимо, и сами школы будут признаны излишними.

2

Саше предстояло на пароходе добираться до Нижнего Новгорода, а оттуда — железной дорогой до Москвы, затем в Петербург. На пароходе ему приходилось плавать не раз, а железной дороги он еще

не видел. Как-то отец хотел его и Аню взять с собой в Москву на всероссийскую выставку, но Аня, не желая вводить отца в лишние расходы, отказалась ехать. Саша поддержал ее, и поездка не состоялась. Саше впервые в жизни предстояло ехать по железной дороге.

— Завидую я тебе, — говорил на пристани Володя. — Ты Москву увидишь, Петербург. Займешься любимым делом.

Володе грустно было расставаться с Сашей. С отъездом брата он лишался лучшего своего друга.

На палубе парохода Саша прощался со всеми. Володя, задумчиво покусывая губу, смотрел на Волгу. Оля плакала, повиснув на шее Саши, Аня и мать успокаивали ее, а отец двигал бровями, вставлял изредка:

— Полно, Оля...

Наконец раздался гудок, и все заторопились к трапу. Володя резко повернулся к Саше и обнял его. Такой неожиданный и искренний порыв брата до глубины души тронул Сашу. Он радостно и в то же время виновато улыбнулся, сказал дрогнувшим голосом:

— Летом встретимся.

— А на рождество?

— Работы будет много...

— Ясно.

— Пиши, какие книги тебе нужны.

— Спасибо. Просто не верится, что целый год тебя не будет... — Володя тряхнул головой, как бы отгоняя грустные мысли, бодро продолжал: — Ну, это так... прощальное настроение. А вообще я страшно рад за тебя!

С пристани донеслись взволнованные голоса:

— Володя, трап!..

— Трап убирают!..

Володя кинулся к трапу, едва успев перескочить на берег. У него было такое чувство, будто он еще не сказал Саше что-то очень важное, а что — никак не мог вспомнить. С этим чувством он вернулся и домой. Сел за книгу, но никак не мог сосредоточить

внимания на том, что читал. Он подошел к Сашиной книжной полке, и сердце опять сжалось: теперь на этой полке он уже не найдет новых интересных книг. Не с кем будет и поспорить. А как было хорошо! Прочтет он книгу, добытую где-то братом, а вечером, когда Саша, пропахший едким дымом, возвращается из своей лаборатории, они спорят о ней. И Володя часто радостно отмечал: он обратил внимание и выделил из книги те же мысли и образы, что и Саша. Но нередко случалось и так, что они по-разному понимали прочитанное. Тут Володя, при всем его уважении к авторитету брата, горячо отстаивал свое мнение. Поднимался такой шум, что матери приходилось вставать с постели и усмирять их. Утром Оля не давала ему покоя:

— О чем вы спорили? — И сокрушалась: — Ах, как я завидую, что твоя комната рядом с Сашиной!

В этот день и Оля ходила по дому, точно потеряла что-то. Она несколько раз принималась играть, весь дом наполнялся отчаянно-бурными звуками, и вдруг рояль внезапно стихал, словно струны в нем обрывались. За вечерним чаем не было обычного оживления. Даже Митя и Маняша, подчиняясь общему настроению, шумели меньше обычного. И о чем бы ни заходил разговор, он незаметно сводился к отъезду Саши. А когда неделю спустя вслед за Сашей уехала и Аня, в доме совсем как-то пусто стало.

8

Денег у Саши было мало, и он ехал в третьем классе. В вагоне тесно, душно и грязно. Огарок свечи чуть виделся сквозь табачный дым.

— Получили мы, значить, тот дарственный надел, — рассказывал худой, сгорбленный старик с какой-то желчной иронией, — и что ж это, люди добрые, за земля была? Солонцы! На них и чертополох-то не рос! Вот и вышло: подарили нам то, что никто и даром не брал. Точно, как хохлы говорят: на тоби, боже, що нам не гоже. Чистая правда! Ну так. Мужики поскребли затылки да к помещику!

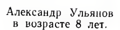


Семья Ульяновых. 1879 г.



Александр Ульянов
в возрасте 4 лет.





Александр Ульянов
в возрасте 8 лет.

Что ж это, мол, такое? А он с улыбочкой достает какую-то книжицу и говорит: «Вот положение, подписанное государем-императором. Вот в нем сто двадцать третья статья и гласит...» И начал читать. У меня тут вот, — мужик ударил себя в грудь, — все вскипело. Я не выдержал и крикнул: «Подлог! Не может быть для мужика воли без земли! Давай нам землю!» От этого крика моего мужики и вспыхнули, как солома в ветреную погоду от искры. — Старик вскинул седую голову, глубоко посаженные глаза злобно сверкнули. — «Давай, землю!» А он в ответ: «А кнутов не хотите?» Так я, мол, сей миг из Тулы солдат потребую. Ах, ты, мать расчестная! Взвыли тут все: что ж это? Царь волю объявил, а он, подлюга, штаны грозится спустить. Так не бывать же этому! — Старик приподнялся, рубанул рукой: — Бей! Жги! Ну, и разнесли мужики все просто-таки озверело...

— И его того?.. — с испугом спросил рябой парень, слушавший старика с открытым ртом.

— Все сгорело дотла, — старик вздохнул горбясь. — Да и его слова сбылись. И шомполов мы отведали, и вшей по тюрьмам покормили, и на каторге помаялись. Да живуч, знать, мужик-то русский, как червь: на куски его, грешного, режут, а он все вертится, а он все ползает... — Старик вскинул руку так, словно крестным знамением хотел осенить кого-то, торжественно заключил: — И попомните мое слово, православные: доползет!..

И так всю дорогу: о чем бы разговор ни заходил, неизменно сводился к самому больному месту мужика — к земле. А за окном вагона простирались неоглядные поля. Невольно думалось: «Чья же это земля? Кому идут плоды ее?» Конечно, не тем, кто кровавым потом добывает их. И как долго это еще будет?

— Все народ ел: и собак, и кошек, и кору деревьев, — рассказывала старуха плачущим голосом, — да и это не спасло: всех бог прибрал. Один вот мальчонка остался, — она показала на испуганно жавшегося к ней худого, оборванного мальчика, —

а куды его теперь девать-то? У тово сына и своих целая дюжина...

Не трудно было представить Саше, какая судьба ждала этого сироту. А сколько их, таких вот, царь-голод гонит по миру? Всплыли в памяти слова поэта:

В мире есть царь: этот царь беспощаден,
Голод изванье ему.
Водит он армии, в море судами
Правит; в артели сгоняет людей,
Ходит за плугом, стоит за плечами
Каменотесцов, ткачей.

Душу Саши всегда будоражила «Железная дорога» Некрасова, но сейчас он с новой силой ощутил страшную правду ее. Впечатления были так сильны, что он и во сне увидел толпу мертвецов, обгоняющих дорогу чугунную. Впереди всех бежал тот старик, что с каторги возвращался и кричал: «Бей! Жги!» Толпа мертвецов навалилась на поезд, в вагоне стало темно, стих перестук колес... Саша проснулся. В вагоне тихо. Но что это? Действительно, за окном слышится пение или ему только кажется? Нет, кто-то тихо тянет заунывный, похоронный мотив. Что же думает этот человек? Откуда едет? Тоже с каторги? Или он эту дорогу строил? И его именно здесь вот «секло начальство, давила нужда»?

Под впечатлением поездки Саша осматривал Кремль, и он не понравился ему. Кремль ему представлялся крепостью русских царей, за стенами которой они веками творили неправедный суд над народом. Хотя у него было еще время, он не стал задерживаться в Москве. Ане сказал, когда она приехала в Петербург:

— Говорили об удовольствии езды по железной дороге. По-моему, без малого — наказание.

— Я тоже страшно измучилась.

— Да, все, абсолютно все делается так, — продолжал в глубокой задумчивости Саша, — что оно оборачивается наказанием народу. Волю дали —

землю отняли, дорогу построили на костях народных, а возят этот самый народ хуже скотов. Я столько наслушался всяких бед за дорогу, что постарел, наверное, лет на десять. Того чиновники ограбили, того в тюрьме ни за что всю жизнь продержали, третьего до смерти запороли...

4

Снял комнату Саша на Съезжинской улице. Здесь селилась обычно самая демократическая часть студенчества. Тут и к университету было не очень далеко, и, главное, хозяйка оказалась доброй старушкой.

Аня хотела поселиться вместе с Сашей, но у старушки не было другой комнаты.

С первых дней Саша завел железное правило работать в сутки не менее шестнадцати часов и строго придерживался его. Он не стал ожидать, пока начнутся лекции, и днями просиживал в Публичной библиотеке за чтением Дарвина и других книг по естествознанию. У Ани не было своего плана чтения, она не знала, куда девать свободное время, и шла проводить его к Саше. Он мягко, но и очень решительно отказывался от частых прогулок с нею. Однажды, проводив Сашу до библиотеки, Аня спросила:

— А можно ли там новые журналы получить?

— Думаю, что да, но не знаю. Я их не спрашиваю.

В ответе Саши не было иронии, но Аня почувствовала себя смущенно. Она завидовала Саше, который никогда не метался, никогда не раздумывал, что ему делать. У него всегда на очереди стояли десятки книг для чтения по самым разнообразным вопросам. Аня видела, с какой неохотой он отрывался от книги, когда она заходила к нему. Выслушав новости и кратко, сжато рассказав о своих впечатлениях, он, как правило, вновь брался за книгу. Так и проходили свидания: он сидел за своей книгой, она — за своей.

«Революционеры исчерпали себя 1-ым марта, в рабочем классе не было ни широкого движения, ни твердой организации, либеральное общество оказалось на этот раз настолько еще политически неразвитым, что оно ограничилось и после убийства Александра II одними ходатайствами... Все эти осторожные ходатайства и хитроумные выдумки оказались, разумеется, без революционной силы — нолем, и партия самодержавия победила...» Надежды народников на революционное выступление масс не оправдались. «Народная воля» была разгромлена правительством, наступила пора «такой разнузданной, невероятно бессмысленной и зверской реакции, что наши демократы струсили, присели».

Эта разнузданная, бессмысленная и зверская реакция, наступившая с приходом к власти Александра III, тяжелым гнетом легла и на студенческую молодежь. В университетах были введены новые уставы, призванные искоренить крамолу и вольнодумство и воспитать молодежь в верноподданническом духе. Из университетов удалялись под всевозможными предлогами лучшие профессора, из публичных библиотек и общественных читален изымались книги и журналы. Оживилась проповедь малых дел, непротивления злу. Либералы робко вздыхали по старым, добрым временам и трусливо перемётывались в лагерь реакции. В среде студенчества общее настроение уныния и неверия в силы прогресса тоже глубоко пустило корни. Появился тип студента, которого не интересовали никакие общественные вопросы. Даже в отстаивании своих академических интересов эта молодежь не проявляла достаточной настойчивости и энергии. Но и в том случае, когда студенчество выступало, выступления его больше напоминали стон закованного пленника, порыв отчаяния, чем целеустремленную революционную борьбу.

Выступления студентов (в 1882 году в Казанском и Харьковском университетах, год спустя — в Варшавском) жестоко карались правительством. Сту-

дентов выгоняли из университетов, заключали в тюрьмы, гнали в ссылки. Получалось, студенты выступлениями не только не улучшили своего положения, а еще больше ухудшили его. Это наводило на размышления о том, что же нужно делать, чтобы добиться хоть самых элементарных свобод. В поисках ответов на эти проклятые вопросы молодежь металась от одного учения к другому, разочаровывалась, вновь принималась за поиски верного пути борьбы.

Во Франции умер Тургенев. Его смерть была воспринята всем передовым обществом как тяжелая утрата. Правительство же хранило молчание. И вдруг Катков в своих «Московских ведомостях» опубликовал письмо Тургенева к Лаврову. В письме этом Тургенев сообщал, что он согласен давать деньги для издания народнического журнала «Вперед». Письмо Катков преподнес без всяких комментариев, как бы подчеркивая этим: тут все говорит само за себя. Тургенев не только в своих книгах симпатизировал революционерам, но, оказывается, и материально поддерживал их. Оправдалось то, в чем его подозревали.

Революционно настроенная молодежь ликовала, читая письмо; благонамеренные либералы кричали, что это ложь, подлог, что это провокационное выступление инспирировано охранкой, а департамент полиции телеграфировал губернаторам: «Принять без всякой огласки, с особой осмотрительностью меры к тому, чтобы не делаемо было торжественных встреч». Но толпы народа собирались на станциях, чтобы поклониться праху великого сына земли русской. Атмосфера вокруг предстоящих похорон Тургенева накалялась все больше и больше, по мере того как гроб с его телом приближался к Петербургу. Издатель «Вестника Европы» Стасюлевич, сопровождавший гроб с телом Тургенева, воскликнул:

— Можно подумать, что я везу тело Соловья-разбойника!

В семье Ульяновых все любили Тургенева, все чи-

тали и перечитывали его. Образ Базарова, созданный писателем, был особенно близок Саше. Любил Саша и героев повести «Часы» — Давида и его невесту.

— Очень симпатичные характеры, — говорил он о повести Ане.

И вот Тургенева не стало...

В этот день Саша уступил настояниям Ани, и они пошли побродить по городу. И вдруг увидели: движется погребальная процессия в тесном кольце казаков и городовых. Саша смотрел на это странное шествие и глазам своим не верил: неужели Тургенева хоронят? Того самого Тургенева, который так пламенно любил Россию, который так вдохновенно воспел и красоту природы ее и могучую силу духа народного? Да, царь во всем остается верен себе: он показывает свою деспотическую власть не только над живыми, но и над мертвыми.

— Какая низость! — говорил Саша, пристроившись вместе с Аней в конце процессии. — Ничего на свете нет страшнее неограниченной власти тупого, злобного, жестокого человека...

Похоронная процессия двигалась, словно толпа арестантов под усиленным конвоем. Саша не мог понять, чего же боится царь, этот человек с лицом мопса. Кто его напугал? Труп! Но нужно же быть абсолютным идиотом, чтобы не понимать, что это позорный, его самого унижающий страх! И такому человеку доверена судьба народа!

Саша глянул на угрюмые лица людей, шедших за гробом, и понял: они испытывали те же чувства. Вспомнились полные горести и боли за судьбы своей несчастной родины слова Тургенева: «Как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома?..»

На кладбище полиция пропустила немногих, и Саша с Аней остались стоять у ограды. Возвращались они опечаленные и подавленные. Саша несколько дней был хмур и больше обычного молчалив. Потом он слышал рассказы тех, кому удалось пройти на кладбище, какое тяжелое настроение царило там, как трудно было говорить тем немногим, кто высту-

пал в толпе полицейских, окружавших могилу. И он еще и еще раз спрашивал себя: до каких же пор это будет? Когда же придет время — да и придет ли оно вообще? — той свободы, за которую народ понес много жертв? И что же он должен сделать, чтобы то желанное время пришло?

Саша принадлежал к типу тех редких людей, которым несчастья других причиняют больше страданий, чем свои собственные. Подавление свободы личности вызывало в душе его мучительную боль. Необходимость говорить только так, как позволено, как угодно его императорскому величеству, была для его самобытного, глубокого ума хуже всякой пытки. А от постоянного контроля над собой он чувствовал, что тупеет. Не умея кривить душой, он вынужден был больше молчать, подавлять силой воли желание высказать то, что было у него на сердце.

6

В одно из воскресений Саша, собираясь с Аней в город, сказал:

— Сегодня я хочу побывать в крепости.

— В какой?

— В Петропавловской.

— Как? Разве туда пускают? — удивилась она.

— Да.

— Шутишь. Я же слышала: тем, кто там сидит, не дают даже свиданий.

— Пускают в собор крепости. Там ведь гробницы царей. Но чтобы попасть в собор, нужно пройти через двор, мимо тюремных окон.

— Откуда ты все это узнал? — пораженная такой осведомленностью, спросила Аня.

— Там уже были наши студенты.

— Не понимаю... Как же начальство решается пускать туда?

— Пока что оно смотрит на посещения как на патриотическое паломничество к могилам императоров. Но ходят уже слухи, что скоро будут на тюрем-

ный замок заперты и эти ворота. Так что надо, не откладывая, побывать там.

Пока шли городом, Саша рассказывал:

— За все время своего существования у стен этой крепости не было ни одного сражения. С нее началось строительство города, она и стала главной его тюрьмой. А сейчас, по сути дела, и весь город превратили в главную всероссийскую тюрьму. Страшно подумать, сколько людей заживо похоронено в могильных казематах крепостных бастионов. Поистине, не крепость, а надгробный памятник Свободе. В этом городе погибли декабристы, Желябов...

Проходивший мимо плюгавенький господин в помятом пальто, услышав имя Желябова, остановился и подозрительно покосился на Сашу. Аня, заметив это, прижала его локоть — тише, мол, — и прибавила шагу. Поворачивая за угол, она незаметно оглянулась. Господин продолжал, не скрывая даже, что он следит за ними, смотреть им вслед. У Ани сердце тревожно застучало: и до чего неосторожный Саша! Так ведь можно и в беду попасть.

— Шпик? — тихо спросила она.

— Похоже. Да ты привыкай. Петербург не Симбирск. Тут они на каждом шагу. Здесь, говорят, и стены уши имеют.

— Ужасно! — воскликнула Аня с отчаянием. — Как же тут жить?

— Время покажет, — тоном раздумья ответил Саша. — Вот и пришли...

Мрачные двенадцатиметровые стены крепости, точно скалы, поднимались, казалось, прямо со дна Невы. День был ветреный, по Неве ходили тяжелые чёрные волны. Словно в бессильной злобе бились о стены, брызгая пеной. Невольно Саша подумал, что так вот и волны восстаний дробятся о крепость самодержавия. Вспомнилось латинское изречение, которое любил повторять Володя:

Gutta cavat lapidem
Non vi sed saepe cadendo... *

* Капля камень долбит не силой, а частым падением.

Да, все-таки будет так: никакие крепости не устоят от частого падения капель. А если шторм, а если наводнение?.. Саше представилось, как эта темная, злобно вспенившаяся Нева вздыбилась и ринулась на крепость, смела ее с лица земли.

— За год до восстания декабристов было самое сильное наводнение, — точно думая вслух, сказал Саша, останавливаясь у мостика перед воротами. — Вся крепость стояла в воде. Здесь, на воротах, должны быть отметки уровня воды.

Как только Аня и Саша остановились у мостика, к ним подошел вынырнувший бог весь откуда человек с бегающими глазками и пристроился рядом. Аня, увидев его, опять дернула Сашу за руку. Человек, помахивая тросточкой и усиленно делая вид, что рассматривает ангела на золотом шпиле собора, не спеша поплелся за ними. Под аркой ворот вдруг послышался топот копыт и крик:

— Стор-ронись!

Аня и Саша чуть успели отскочить в сторону, как мимо них с ошалелым грохотом пронеслась черная тюремная карета. В щели завешенного окошка мигнул чей-то острый глаз.

— Проходи там! — тут же раздался окрик часового. — Живо!

Не успели они выйти из-под арки, как за спиной вновь загрохотала карета. На башне собора глухо, точно в колокол, ударили куранты: раз, два, три... одиннадцать. В сжатом крепостными стенами дворе этот бой курантов звучал, словно похоронный звон. И если не было видно крестов и могил, так потому, что кладбище это необычное: здесь людей хоронили заживо.

Под подозрительно-пристальными взглядами стражи Аня и Саша прошли с небольшой, настороженно озирающейся кучкой посетителей через двор к собору. За ними неотступно, точно конвой, шел часовой. Зловещая тишина тюремного двора, нарушаемая только бряцанием оружия да окликами часовых, сразу же сообщалась всем посетителям, и они брели к собору, опустив головы и с тем выражением на

лицах, которое бывает, когда люди идут за гробом. В соборе стояла еще более гнетущая, могильная тишина. Хриплый глухой голос старика экскурсовода звучал словно с того света.

— Здесь покоится прах государя императора Петра Великого. Почил в бозе великий государь в ту пору, когда собор не был еще окончен постройкой. Гроб с его прахом шесть лет стоял посреди собора — вон в том месте — и только после того был предан земле. Место для захоронения останков своих было определено государем задолго до кончины.

Саша рассеянно слушал старика экскурсовода, переходя от одной гробницы к другой, и думал: «А сколько же государи похоронили здесь лучших людей России? Сколько сейчас их тут умирает? И какой удивительный курьез истории: всех этих государей привозят на то же кладбище, где они всю жизнь рыли могилы врагам своим!»

Уходя из собора, Саша пристальным взглядом окинул мрачные тюремные стены, за которыми томились, сходили с ума, умирали мучительной смертью отважные борцы за свободу. Ему стало как-то не по себе: ведь эти люди отдали (и отдают!) свои жизни и за его свободу! А он? Что же он сделал? Чем он помог им в неравной, самоотверженной борьбе? Какое он имеет моральное право считать себя их единомышленником, если сам ничего еще не сделал?

— Проходите! Проходите! — наступая на Сашу, грозно командовал часовой, провожавший всех до ворот.

Это было первое ощутимое, а не вычитанное из книг дуновение тюрьмы для Саши и Ани. Они почувствовали себя как бы стиснутыми в одном из бастионов самодержавия, ощутив гнетущую и, как казалось, непоборимую власть его.

Выйдя из ворот, Саша остановился и оглянулся. Шпиль собора таял в низком сером небе. Моросил мелкий осенний дождь, от резких порывов ветра, налетавшего с Невы, черный ангел на золотом яблоке поворачивался, издавая скрип, похожий на тяжкий

стон. Казалось, это узник, прикованный цепью к шпилю, мечется, силясь оторваться и улететь.

— Странно... Точно человек стонет, — тихо сказала Аня. Саша не отозвался, и она, не в силах выносить и странный скрип-стон и гнетущую тишину, продолжала: — А где они сидят? В том здании, мимо которого мы проходили? Ужасно! — вздрогнув, сказала она и взяла Сашу под руку. — Пойдем отсюда...

Только они повернули уходить, как за их спиной грохнул пушечный выстрел. Аня испуганно вздрогнула и остановилась. Поняв, что это ударила пушка, извещающая еще со времен Петра обывателей города о том, что наступил полдень, она слабо улыбнулась, вздохнула:

— Фу-у... Сердце замерло...

Дождь усиливался. О железную решетку Летнего сада, мимо которого они шли, как-то беспомощно и жалобно бились голые ветви деревьев. Аня несколько раз пыталась заговорить, но Саша отвечал односложно, и она умолкла.

7

Прощаясь с Сашей, отец говорил:

— Я буду высылать тебе сорок рублей в месяц.

— Много. Мне сорок, Ане столько же... А что вам останется? Нет, мне вполне хватит и тридцати рублей.

— Друг мой! — улыбнулся Илья Николаевич. — Я очень тронут твоей заботой о нас. Но ты не жил еще сам, ты не знаешь, что это значит. А я по своему опыту знаю: плохо наука в голову идет, если голова постоянно занята одной и той же мыслью: где добыть на хлеб насущный? Сорок рублей (из них десять, если не больше, уйдет на квартиру) не бог весть какие деньги. Тебе их хватит только на хлеб да чай. А ведь и книги нужно купить...

— Я найду уроки.

— Вот этого я тебя прошу не делать. В первый год, как правило, очень много лекций, лабораторных

занятий. А если ты с первых же шагов не сумеешь хорошо зарекомендовать себя, после сделать это будет труднее.

— Хорошо. Но тридцать рублей мне все-таки хватит.

— Саша, не настаивай, — вмешалась в разговор мать, — отец сам учился, он хорошо знает то, что советует тебе. У меня и так сердце болит, что мы больше не сможем высылать, а ты и от этого отказываешься.

Видя огорчение матери, Саша не стал настаивать. Но и решения своего не изменил. Получая из дому сорок рублей, он тут же откладывал десять и не трогал их, как бы они ему ни были нужны. А нужд и соблазнов было много: книгу хотелось купить, в театр сходить... Но как он мог это делать, если знал: мама считает каждую копейку, чтобы свести концы с концами? Теперь ей еще труднее.

Ане Саша не стал говорить о своем решении, чтобы не оказывать на нее влияния.

В первую зиму учебы в университете Саше было всего семнадцать лет. Он никогда не жил самостоятельно, и ему нелегко было тратить не больше трицати рублей. А тут еще заболел возвратным тифом. Требовалось усиленное питание, непредвиденные расходы на врачей и лекарства. Но он все-таки не отступал от своего: кроме обеда, который подавала ему хозяйка, его питанием служил лишь ситный хлеб да чай. Огромные расстояния Петербурга он, не окрепший еще после болезни, мерил пешком. Если ему приходилось уж очень трудно, говорил себе: «А разве тем, кто угнан на каторгу, легче? Нет! Они на мое житье смотрят как на сущий рай. Так почему же я должен давать себе поблажки? Нет, чтобы выдержать характер в большом, нужно начинать с малого».

И он не только в этом, а и во многом другом не отступал от раз принятого решения. Но и, с другой стороны, ни за какое дело не брался, глубоко и всесторонне не обдумав его.

На рождественские каникулы Саша решил не

ехать в Симбирск. Это была бы лишняя трата времени и, что еще важнее, денег. А поехать домой очень хотелось: он, как и Аня, чувствовал себя в Петербурге в первое время одиноко. С людьми всегда сходился трудно, а тут работы было столько, что совсем не оставалось времени. Аня, следуя его примеру, тоже не поехала домой, но тосковала отчаянно и решила: больше никогда не останется.

Приехав в Симбирск на летние каникулы, Саша зашел вечером в кабинет к отцу, положил на стол восемьдесят рублей.

— Откуда это? — удивился Илья Николаевич.

— Я тебе говорил: тридцати рублей мне вполне достаточно, — спокойно разъяснил Саша, — это разница от того, что ты присылал.

Илья Николаевич пристально посмотрел на сына. Как он вырос за этот неполный год! Как возмужал! Этот поступок Саши растрогал его до слез, что с ним редко случалось. Он обнял сына, сказал дрогнувшим голосом:

— Спасибо, Саша. Брать стойкие решения надолго и проводить их с неуклонностью в жизнь куда труднее, чем принимать какие-то героические решения на момент. Ну, садись, рассказывай, как там жилось. На письма ты скуп...

— Не умею я длинные письма писать, — виновато улыбнулся Саша, — не получается как-то... Университетом я очень доволен. Одна только беда: времени мало. А больше шестнадцати часов я работать не могу.

— Шестнадцати? — удивился Илья Николаевич.

— Да.

— И это ты считаешь мало? Ну, друг мой... — Илья Николаевич только головой покачал да вздохнул.

8

Илья Николаевич писал: «Народная школа принесла уже свои плоды, и задача ее начала мало-помалу выясняться для сельских обществ, относившихся прежде к школе с таким недоверием. Но, несмо-

тря на такое преуспевание школьного дела по целой губернии, одна сторона его, и сторона очень существенная, и в отчетном году не имела сколько-нибудь заметного развития — это именно сторона воспитательная. Наша народная школа не приобрела еще своего нравственного влияния на наши сельские общества, не успела даже на самих детях положить отпечаток своих нравственных влияний. Причина такого явления понятна сама собой. Наши народные учителя и учительницы при своей, в большинстве случаев, весьма недостаточной научной подготовке, не могут вполне воспользоваться и тем немногим, что сделано по вопросам воспитания в нашей педагогической литературе, и потому, естественно, не могут твердо и сознательно держать в своих руках такого дела, которое выпадает иногда из рук самых опытных воспитателей. Поэтому вся заслуга наших учителей в этом отношении состоит почти в том добром влиянии, которое многие из них оказывают на детей своим примером и своей жизнью. Но зато это немногое никогда почти не остается без своих благоприятных влияний на учащихся, благодаря тому значению, какое имеет наша народная школа на детей, поступающих в нее из крестьянских семейств, со слишком низким уровнем развития».

Учителям Илья Николаевич постоянно советовал:

— Будьте с детьми как можно мягче. Обычай старой школы надо ломать. Вырабатывайте в себе истинные качества педагога: любовь к детям, бодрость духа, терпение, сочувствие, самообладание, энтузиазм...

Учителя поражались тому, как глубоко, как беззаветно отдавал он всего себя на служение идеи. «Мы и мечтать не могли, — писал один из них, — приблизиться к тому идеалу человека и гражданина, какой воплощал в себе И. Н. Ульянов... Я вполне глубоко сознаю и понимаю благоговение и преклонение перед обаятельной личностью И. Н. Ульянова».

Член училищного совета Симбирского уезда Ва-

лериан Никанорович Назарьев, несколько лет следивший за деятельностью Ильи Николаевича, писал о нем: «Изредка, прямо из весеннего зажора или спасаясь от зимней метели, появлялся в моем уединенном хуторе вконец распростуженный инспектор народных училищ Илья Николаевич Ульянов, маленький тщедушный человек с впалой грудью, с первого взгляда производивший скорее неблагоприятное впечатление чиновника министерства просвещения, так и родившегося на свет божий в поношенном синем фраке с белыми пуговицами.

В большом обществе он был молчалив и нисколько не интересен, но зато в беседе с близкими, сочувствующими ему людьми страстно любил поговорить, так как у него всегда было очень много такого, что необходимо было сообщать о его школах. В таких случаях он заговаривал собеседника, быстро прохаживаясь по комнате, приглаживая рукой лысину с прядью черных волос и претендуя только на то, чтобы никто не мешал ему ораторствовать все на одну и ту же любимую им тему.

Как птица божия, он никогда не помышлял о чем-нибудь житейском, предоставив это жене, никогда не унывал, не жаловался и безропотно продолжал скакать по губернии, по целым месяцам не видеть семьи, голодать, угорать в съезжих, рисковать жизнью, распинаться на земских собраниях или сельских сходах богатых торговых селений, среди равнодушной толпы мироедов, выпрашивая гроши, утешая приунывших учителей и плаксивых учительниц, чтобы, возвратившись, наконец, в город, тотчас же бежать на свои педагогические курсы, и все-таки, при всей окружавшей его неурядице, при постоянном физическом и моральном утомлении, при вечной войне с разжиревшими и явно глумившимися над ним волостными старшинами, писарями и плутами-подрядчиками, умудрился не только удержать в руках врученный ему светильник, но наперекор всему в одном только нашем уезде вместо бывших номинальных организовать до 45 сельских школ, большая часть которых удовлетворяла современным требова-

ниям как по своей обстановке, так и по солидной подготовке преподавателей».

Когда Илья Николаевич возвращался из длительной поездки по губернии, дом точно оживал: все спешили поделиться своими успехами в учебе, услышать его одобрение. Семья собиралась в столовой или в беседке — если это было летом — за самоваром. После чая Илья Николаевич садился за шахматы с Сашей или Володей. Всем было весело и как-то необыкновенно радостно и уютно.

9

В первые дни каникул Володя ни на шаг не отступал от Саши, и Оля ревниво выговаривала ему:

— Почему ты один захватываешь его? Саша, пойдем к нам, я кое-что тебе покажу.

— А Володе можно? — улыбаясь, спрашивал Саша.

— Нет.

— Хорошо, — смеясь, говорил Саша, — бери, Володя, меня за правую руку, а ты, Оля, за левую. Кто перетянет к себе, к тому и пойду первому.

Начиналась веселая возня, весь дом наполнялся визгом Оли, прибегали Митя и Маняша и кидались помогать Оле, видя, что Володя перетягивает Сашу на свою сторону. Володя кричал, что это нечестно, горячился, и кончалось тем, что Саша, к общей радости, шел играть в крокет. Володя, всегда точно соблюдавший правила игры, шумел больше всех. Саша успокаивал его:

— Ну, пусть. Оля же только чуть-чуть нарушала правило.

— Нет! Это уже не игра, — стоял непреклонно на своем Володя, — это безобразие. Я умываю руки, — закладывая руки за спину, кричал он, — я прекращаю игру!

Не помогали и слезы Оли: Володя стоял на своем. Игру приходилось бросать и находить другое занятие. Чаще всего шли на Свиягу купаться. Если

у Ильи Николаевича выбирался свободный час, он тоже приставал к компании. Вернувшись домой, они с Сашей принимались за шахматы. Все дети окружали игроков тесным кольцом. Победа Саши — а он без труда выигрывал у отца — встречалась общим ликованием. Илья Николаевич смущенно двигал бровями и, уступая место Володе, просил:

— Ну-ка, возьмись ты за него.

Володя торжественно усаживался на место отца, сосредоточенно хмурясь, подолгу обдумывал ход, но его постигала та же участь: Саша обыгрывал его еще быстрее. Оля, прыгая, радостно хлопала в ладоши. Володя, сердито косясь на нее, спрашивал:

— Чему радуешься?

— Это тебе не меня обыгрывать! Ага! — И жаловалась Саше: — Он так возомнил о себе, что совсем уж не хотел со мной играть.

— Я и сейчас не хочу. А с Сашей еще раз сыграю. И посмотрим, — задетый за живое, говорил Володя, спешно расставляя фигуры. — Ходи!

Если Володе случалось выиграть, то он, остро щуря свои искристые карие глаза, спрашивал с вызовом:

— Ну, еще одну?

— Хватит, — отвечал Саша, не желая портить ему настроение следующим проигрышем. — Ты гораздо лучше стал играть.

Володя и Саша жили на антресолях в смежных комнатах. К ним из прихожей вела узкая, крутая лесенка. У Володи, собственно, была не комната, а что-то среднее между комнатой и лестничной площадкой. Поднялся по лесенке — и сразу же попадаешь в его комнату. А Саше, чтобы попасть к себе, нужно пройти через комнату Володи. Чтобы перебраться на другую половину антресолей — там тоже две маленькие комнатки, — приходилось спускаться вниз, проходить через комнату мамы, мимо кабинета отца и подниматься по лесенке. Был туда и другой, запрещенный, но, как находили ребята, самый удобный путь. Комнаты Ани и Саши соединялись балкончиком. Но дверь на балкончик была только из ком-

наты Ани, а чтобы попасть от Саши на него, нужно было вылезать через окно.

Чаще всего, когда в доме все уже засыпали, к окну Саши подходила Аня, шепотом говорила:

— Хватит читать, иди посидим...

— А мне можно? — откликался из своей комнаты Володя, которому все было слышно.

— Иди, — разрешал Саша.

Ребята вылезали через окно на балкончик, усаживались поуютнее и тихо, чтобы не услышала мама — ее окно было под балкончиком, — говорили. Володя жадно расспрашивал о Петербурге, об университете. Открыто завидовал Саше и Ане, ругал свое гимназическое начальство, учителей. Особенно зло и насмешливо он отзывался о преподавателе французского языка Поре.

— Это авантюрист, — возмущенно говорил он, — подхалим, доносчик! Самомнения на тысячу, а ума на грош. Но что самое смешное: он вдруг решил учить нас красивым манерам.

Володя встал и начал показывать, как нужно кланяться на улице, при входе в комнату, как надо садиться, разговаривать с дамами. Получалось у него это так уморительно смешно, что Аня и Саша от души хохотали.

— Однажды я зашел в класс и так вот представил его, а он, оказывается, стоял за дверью и подслушивал. Это взбесило его. На каждом уроке он принялся вызывать меня, выискивая, к чему бы придраться.

— И вывел все-таки четверку за четверть? — заметила Аня.

— Оля уже разболтала! Ну и что же? Это только лишний раз говорит о том, какая у него мелкая и подленькая душонка. Я не хвастаюсь, но это всем известно: лучше меня в классе никто не знает французского языка.

— А ты все-таки будь осторожнее, — посоветовала Аня.

— Ну, история с Пором — это сущая чепуха. У нас другое дело было. Кто-то в пансион принес

сборник революционных песен и спрятал в умывальнике. Сторож нашел его, передал начальству. И начался переполох! Поверите, все носились с таким видом, точно нашли не книжку, а адскую машину. Директор собрал старшеклассников и потребовал, чтобы они выдали тех, кто читает запрещенные книги. Ничего у него из этой затеи, разумеется, не вышло. Однако какая все-таки это подлость: открыто требовать предательства! Неужели и у вас в университете до этого дошли?

— Почти. А дома шагу не ступишь, чтобы за тобой кто-то не следил. Дворник, хозяин, сосед — все смотрят на студентов как на главных нарушителей их сонного и сытого спокойствия.



ГЛАВА ПЯТАЯ

1

С каждым годом круг знакомств Александра Ульянова расширялся. Кроме земляков, с которыми он поддерживал тесные связи, он подружился со своими однокурсниками: Говорухиным, Шевыревым, Лукашевичем. Говорухин предлагал ему вступить в какой-нибудь кружок. Саша спрашивал:

— А что там делать?

— Чем тебя не устраивают наши кружки?

— Тем, что болтают много, а учатся мало. О конечной цели своей работы не думают и не представляют ее.

— Как? А кухмистерские кто организовывает? А студенческие кассы? А библиотеки? Ты сам где доставал нелегальную литературу? В этих же кружках землячеств!

— У тебя есть очень странная черта: ты можешь с жаром доказывать то, что я никогда не собирался оспаривать. Я не утверждаю, что кружки абсолютно ничего не дают. Я говорю, что в них много болтают и совсем не думают о том, как искоренить главное зло нашей жизни!

— О-о... О, чего ты захотел! От кружков ты этого никогда не дождешься! На это есть революционные организации. Вступай в них.

— Не могу.

— Почему же? — допытывался Говорухин.

— Я еще не решил многих вопросов, касающихся лично меня. Но что еще важнее, вопросов социальных. А социальные проблемы очень сложны и мало разработаны. Если естественные науки, можно сказать, только сейчас вступают в ту фазу своего развития, когда явления рассматриваются не только с качественной, но и с количественной стороны, только теперь становятся, стало быть, настоящими науками, то что же собой представляют социальные науки? Ясно, что не скоро можно решить социальные вопросы. Я предполагаю, конечно, научное решение — иное не имеет смысла, — а решить их необходимо общественному деятелю. Смешно, более того — безнравственно профану в медицине лечить болезни; еще более смешно и безнравственно лечить социальные болезни, не понимая причины их. Ну, разве наши революционеры имеют ясное представление о всех тех проблемах, которые берутся решать?

— Нет, — согласился Говорухин.

— Ну вот. А таких революционеров сейчас хоть пруд пруди. Кое-кому кажется, что это хорошо. Но я убежден, что это плохо, я убежден, что два настоящих революционера больше могут сделать, чем двести скороспелых.

Подобное отношение к революционной работе озадачило Говорухина: он впервые в жизни встречал че-

ловека, который так рассуждал. Обыкновенно начинающий революционер рвался к практическим делам и только после того, как встречал трудности на своем пути или терпел поражение в чем-то, начинал доискиваться до их причин, берясь за изучение теории. Он говорил Шевыреву:

— Непонятной загадкой мне кажется этот Ульянов.

— У него ума, батюшка, кладовая, — замечал Шевырев. — Вот вся тебе и загадка. А мы привыкли: перекинулся с человеком парой фраз — он уж весь перед тобой, как стакан на блюдечке, — насквозь виден. Я лично не люблю, батюшка, таких прозрачных людей.

— Да, Ульянов не из прозрачных. И характер у него удивительный: личная ссора с ним совершенно невозможна. Он равно уважает и собственное достоинство и достоинство других. Никогда не подсмеивается, не поддразнивает; он не способен ни на какие резкости. Больше того, как-то болезненно возмущается, когда слышит их от других. И в то же время в речах его сквозит какая-то безжизненная объективность, а иногда даже и политический индифферентизм.

— Вот я и еще раз, батюшка, убедился: в людях ты разбираешься так же хорошо, как я в китайских иероглифах.

— Знаете что, Петр Яковлевич, — вспылил Говорухин, — я попросил бы вас...

— Объясниться? Извольте, батюшка. Но я прежде вас спрошу: неужели вы ни разу не слышали, как Ульянов спорит? С каким ожесточением он отстаивает свои убеждения? Неужели вы не замечали, что перед его железной логикой совершенно невозможно устоять? А мне не раз приходилось наблюдать, как он вас, батюшка, разбивал в пух и прах! Если согласиться с вами, то политически активный тот, кто громче всех кричит...

— Ну, зачем вы утрируете? — не выдержал Говорухин. — И к чему вообще этот тон? Я высказал свои соображения...

— А я свои. Впрочем, что нам спорить? Время покажет, кто из нас ошибался. Но за одно я сейчас уже могу головой поручиться: Ульянов принадлежит к типу тех людей, которые, раз составив себе определенное убеждение, безраздельно отдаются ему. Это верование становится для них делом жизни. Вот почему такие люди ни за что не берутся, не взвесив все «за» и «против».

— Да, но так можно всю жизнь взвешивать! А бороться когда? — раздраженно спрашивал Говорухин. — В том-то вся и трагедия, что мы слишком много думаем, взвешиваем да по сторонам оглядываемся: ну-ка, мол, кто там первый? Мы организовываем кухмистерские, хлопочем о кассах, то есть создаем видимость какой-то борьбы. А если ко всему подойти серьезно, то грош цена этой возне, да простят мне все ваши кухмистерские деятели!

— Возможно, — спокойно отвечал Шевырев, — но из этого, батюшка, совсем еще не следует, что настоящий революционер тот, кто только болтает о высоких материях. Даже самое большое дело всегда начинается с маленького. Вот так. А пока будьте здоровы, я спешу. К этому разговору мы, я думаю, еще вернемся.

2

В 1883 году, по приезде Саши в Петербург, революционно настроенная молодежь еще питала надежду на возрождение «Народной воли». Но в следующем году был арестован Герман Лопатин, и все поняли: партия старых бойцов разбита. Восстановить ее невозможно, но не бороться тоже нельзя. Значит, нужно создавать новую организацию, да, по всей вероятности, и вопросы многие решать тоже поновому. Царь и его приспешники, все больше наглея, пошли в наступление и на то, что, казалось, было прочно завоевано обществом. Был пересмотрен университетский устав — на второй же год по приезде Саши, — закрыты передовые журналы, создавались все новые и новые комиссии по пересмотру других демократических завоеваний.

Отмена и тех немногих политических свобод, которые были завоеваны в борьбе с самодержавием, шла наряду с усилением экономического гнета. Правительство вводило новые налоги, непомерной тяжестью давившие народ. И многим казалось: самодержавие всесильно. Волна уныния и пессимизма хлынула на общество.

На все вопросы был один ответ:

— Наше время не время широких задач. Нам не нужно подвигов, нам нужны скромные, маленькие труженики.

Студенческая молодежь всегда очень чутко реагировала на перемены в настроении общества. Среди нее тоже появились сторонники «малых дел», толстовцы, культурники и просто нытики и пессимисты. В революционные кружки пробирались провокаторы. Это еще больше усилило атмосферу растерянности, подозрительности и неверия. О взглядах своих студенты решались говорить только в узком кругу, да и то с явной опаской. Поистине получалось: слово дано человеку затем, чтобы скрывать свои мысли.

В Симбирске Саше казалось — по тем слухам, которые изредка долетали туда, — что в Петербурге политическая жизнь идет совсем по-другому. Но вышло, что здесь все еще сложнее: тут слова никто не скажет, не оглянувшись. Он никогда не мог лгать, а высказывать свои настоящие взгляды и убеждения было некому, и он молчал, изо всех сил стараясь заглушить потребность политической деятельности усиленными занятиями наукой. На первых порах, когда перед ним открывались настоящие лаборатории и в руки попали те книги, которых в Симбирске нельзя было достать ни за какие деньги, это поглощало без остатка все силы его ума и души. Однако длилось это недолго.

3

Правительство преследовало не только землячества, студенческие кассы и кухмистерские. Даже обыкновенную вечеринку студенты не имели права проводить, не взяв разрешения полиции. А разреше-

ние полиция давала только в том случае, если были серьезные мотивы. Самым неотразимым мотивом считалась помолвка.

Дикость этого порядка признавалась даже полицией, для которой не было секретом, что многие помолвки фиктивны, но она придерживалась правила: формальности должны соблюдаться.

Как-то решено было собрать вечеринку, чтобы пополнить кассу землячества. Начали судить да рядить, кого «женить». Перебрали несколько кандидатур, все не то: тот на подозрении у полиции, тот университета еще не закончил. В разгар этих усиленных поисков «жениха» к Саше зашел его хороший знакомый Марк Елизаров. Саша накинулся на него:

— Марк Тимофеевич, выручайте!

— А что случилось? — всполошился тот, видя, как Саша обрадовался его приходу.

— Женитесь!

— Но позвольте... — смутился Елизаров: он давно ухаживал за Аней, для Саши это не было секретом, и он подумал, что Саша говорит о сестре. — Я еще не объяснился... Я еще не знаю, как Анна Ильинична...

— Она согласна!

— Да что вы?!

— Да, да. Это она и предложила вашу кандидатуру. Вот вам бумага, вот перо. Пишите заявление в полицию. Вашей невестой будет Калайтан.

— Как вы сказали?

— Калайтан.

— Нет, я решительно вас не понимаю. Какое отношение имеет эта Калитина или как там ее?

— Калайтан.

— Да, Калайтан. Так какое же отношение ко мне имеет эта... Фу, ты! Опять фамилию забыл!

— Марк Тимофеевич, полно шутить! — с улыбкой сказал Саша, зная пристрастие Елизарова к шутке. — Нам сегодня же надо все оформить, а то вечеринка сорвется. Вы ведь дали Ане согласие взять на себя роль «жениха»?

— А-а, — рассмеялся Елизаров, поняв, наконец,

о чем идет речь. — Я с удовольствием, но, клянусь вам, я это впервые слышу.

— Как? Разве Аня не говорила с вами? — удивился и смутился Саша, поняв, что он невольно разыграл Елизарова. — Она специально пошла к вам, чтобы поговорить об этом. Я был абсолютно уверен, что вы сразу же после разговора с нею и пришли сюда.

— Увы, мы, по всей вероятности, разминулись, — со своей обычной добродушной улыбкой продолжал Елизаров. — Но если землячеству угодно принести меня в жертву, давайте бумагу! А вообще, Александр Ильич, до чего мы дожили, — написав заявление, серьезно и грустно сказал Елизаров, — без разрешения полиции шагу ступить не можем. Скоро нам придется, наверное, писать такие прошения: «Отцы наши и благодетели. К стопам вашим, слуги царевы, припадает всеподданнейший раб и умоляет: изъявите милость свою и ответьте, смею ли я любить девицу такую-то. Ежели я не смею даже и мечтать о ней, то не будет ли вам угодно указать, кому я должен отдать свое сердце. Пребываю в ожидании с упованием на милость вашу».

— А давно ли валялись жених и невеста в ногах у помещика? А что творят эти слуги царевы сейчас в глухих углах империи Русской, если здесь им позволено абсолютно все? — помрачнев, гневно сказал Саша. — Знаете, Марк Тимофеевич, иногда мне кажется: скоро у нас к каждому человеку приставят двух полицейских. Один будет следить за ним днем, другой — ночью. Только при таком идеальном государственном устройстве царь сможет спокойно спать. А если вдуматься во все это серьезно, то получается страшно жалкая картина. Люди, в руках которых вся власть, вся армия, боятся студенческой вечеринки! Мне как-то понять даже трудно, что это. Идиотизм? Трусость? Или просто какая-то душевная болезнь? Человек сидит на царском троне, трон огорожен частоколом штыков и сабель, стеной полицейских и шпиков, и у него не хватает духу высказать даже чувства собственного достоинства. Жалкое, ничтожное существо!

4

Хлопот с разрешением на помолвку оказалось больше, чем Елизаров ожидал. Во время первого прихода в участок ему сказали, что прием будет только завтра. Пришел он на второй день — ему ответ: оставьте, дескать, заявление, разберемся.

— Когда прикажете зайти за ответом? — вежливо осведомился Елизаров.

— Трудно сказать.

— Позвольте заметить: дело мое не терпит больших отлагательств.

— А что там у вас?

— Хочу жениться.

— Хо-хо! Жениться! Эх, молодой человек, послушайтесь моего совета: не торопитесь хомут надевать. Это от вас не уйдет. Поверьте моему опыту.

— Спасибо за добрый совет, — отвечал Елизаров, — а ответ все-таки я попросил бы сейчас.

— Гм... Хорошо, — сдался писарь, — так и быть, завтра доложу ваше дело. Хотя и еще раз советую: не торопитесь!

— Задали мы вам работу, — сокрушался Саша, видя, какую волокиту затеяла полиция.

— Ничего, — шутил Елизаров, — любовь требует жертв. Полиция хорошо понимает это и свято исполняет долг, завещанный ей государем и богом.

Наконец начальство навело справки о женихе и, получив ответ, что ничего предосудительного за ним не замечалось, соизволило принять его. Читая заявление, пристав не смог разобрать редкую фамилию невесты, спросил жениха:

— Как фамилия вашей невесты?

— Ка-тан... Ка-лай...

— Как? — грозно нахмурилось начальство. — Вы фамилии своей невесты не знаете? Молодой человек!..

— Калайтан! — выпалил одним духом Елизаров. — Калайтан! Я, знаете ли, заспешил... Калайтан!

— Мда-а... Ну, молодежь пошла... — пристав укоризненно покрутил головой и с тяжким вздохом обмакнул перо в чернильницу. — Только предупреждаю: ни под каким видом не начинать помолвку, пока не прибудет наш представитель.

— Будет исполнено, — заверил Елизаров начальство и откланялся.

Блюстителя порядка не пришлось ждать: он явился раньше всех. Это был худой, длинный как жердь полицейский. Он снял шинель и, потирая руки в предвкушении выпивки, уселся поближе к столу. Пил он рюмку за рюмкой, жадно ел, как-то странно двигая большими хрящеватыми ушами. Подозрительно окидывал всех маленькими глазками. Вспыхнет где-нибудь смех — он и вскинет свою маленькую голову и, перестав жевать, поведет настороженно длинным красным носом. И не понять было, что он — испугался или просто отреагировал на непривычный его казенному слуху шум.

Спаивать блюстителей порядка всегда брался студент Генералов и очень успешно справлялся с этой обязанностью. Пока танцевали, декламировали безобидные стихи, он не отходил от полицейского и все подливал ему и подливал. У блюстителя порядка начинал заплетаться язык, он уже не вскидывал голову на вспышки смеха и не ждал, пока ему Генералов нальет, а сам тянулся за бутылкой. Хмель требовал излить кому-то свою душу, рядом сидел только Генералов, и он, настороженно оглядываясь — профессиональная привычка, — спрашивал, благосклонно переходя на панибратское «ты»:

— Так ты казак?

— Кубанский!

— Казаков я, э-э... люблю. У них живо: шашки наголо и марш! Марш! И по-орядок! Муху слышно! Знаешь что? Думаешь, я из плохой семьи? Нет, шалишь! Я Дрюпин! Слыхал? Знаешь что? Думаешь, я того... я ничего не слышу и не замечаю? Э-э, не знаешь ты Дрюпина! Я и сплю с одним открытым глазом. Я насквозь вижу каждого и даже еще больше. Знаешь что? Думаешь, я выпил, так и того... я ни-

чего не слышу и не замечаю? Э-э, не знаешь ты Дрюпина! Думаешь, я выпил, так и того... ты меня можешь вокруг пальца? Не-ет, это извините покорно! Знаешь что? Я Дрюпин. Знаешь что? У меня тоже в соответственном месте... Знаешь что? Хочешь, я заплачу?

— К чему же? — притворно ужасался Генералов, наливая еще рюмку. — Помилуйте! Чем же мы вас обидели, ваше превосходительство?

— Как ты сказал? Обидели? — вдруг смахнув слезу, полез в амбицию Дрюпин. — Это меня, представителя власти? Да знаешь что? Я Дрюпин! Я любого в порошок сотру, ежли... Что?

— Ничего. Мне только придется, видимо, сходить в участок и попросить, чтобы прислали другого представителя, — спокойно разъяснил Генералов, поднимаясь со своего места.

На Дрюпина это заявление подействовало, как холодный душ: с него вмиг слетел воинственный пыл, и он, пропустив еще несколько рюмок, опять, оглядываясь, принялся доказывать, что он тоже из хорошей семьи. А в другой комнате происходило то, ради чего затевалась вечеринка: там шли споры на политические темы.

5

Все лето 1885 года Саша усиленно готовил материал для научной работы. Вставал он чуть свет, собирал банки, удочки, сачки и вместе с Володей отправлялся на Свиягу. Там они садились на душегубку и путались по протокам, собирая червей и прочую живность. Вернувшись домой, Саша нес все это добро к себе в комнату, изучал под микроскопом. Аня, заглядывая в банки с кишащими червями, спрашивала:

— Неужели у них есть и органы дыхания и пищеварения?

Саша откладывал работу и подробно принимался объяснять устройство изучаемых им червей. Володя сидел в сторонке, слушал его и думал: «Нет, не выйдет из брата революционера. Революционер не может

уделять столько времени исследованию кольчатых червей». К такому заключению Володя пришел еще и потому, что Саша, не желая оказывать на него влияния, уклонялся от разговоров на революционные темы. А Володя уже читал нелегальную литературу, о многом задумывался, и ему хотелось с кем-то поделиться своими мыслями. Сделал он как-то попытку откровенно поговорить с одним гимназистом, который, как ему показалось, был революционно настроен. Но из этого ничего не вышло: приятель начал толковать о выборе такой профессии, которая помогла бы лучше устроиться, быстрее сделать карьеру. «Карьерист какой-то, а не революционер»,— подумал Володя и не стал с ним откровенничать.

В это лето Володя окончательно порвал с религией. Случилось это так. К отцу приехал один сельский учитель. Человек он был старого закала, из семинаристов, а потому и считал: главный предмет в школе — закон божий. Он жаловался, что новая молодежь, зараженная нигилизмом, равнодушно, а нередко и пренебрежительно относится к религии. От этого, по его мнению, и происходят крамола и всяческие беспорядки. Если молодой человек не ходит в церковь, значит он нигилист, его нужно гнать в Сибирь. Илья Николаевич мягко возразил:

— Это не совсем так. Мои дети вот тоже редко посещают церковь, однако я никогда не слышал со стороны учителей нареканий. Да и, главное, если в самом сердце человека нет веры, то как же вы прикажете вселить ее туда?

Гость с иезуитской улыбкой посмотрел на проходившего мимо Володю, просипел назидательно:

— Сечь, сечь надо...

Возмущенный до глубины души Володя окинул этого апостола кнута гневным, презрительным взглядом, выбежал во двор, рванул с шеи крест, так что нитка до крови врезалась в тело, бросил на землю. Саша, видевший эту сцену, коротко заметил:

— Давно пора.

— Ханжа! — с гневной дрожью в голосе говорил Володя. — Я ему в другой раз дверь не открою! Ти-

пичный Иудушка Головлев. Как я ненавижу всех этих святош, если бы ты знал! Я готов еще тридцать древних языков изучать, только бы меня избавили от идиотского закона божьего. Я тупею от зубрежки бессмысленных, никчемных, унизительных молитв. Когда я слышу, как наши гимназисты, ложась спать и осеняя себя крестным знамением, шепчут с пресерьезным видом: «В руки твои, господи Иисусе Христе, боже мой, предаю дух мой; ты же мя благослови; ты мя помилуй и живот вечный даруй ми. Аминь», — я с трудом удерживаюсь, чтобы не сказать: болван!

— Ты читал Дарвина?

— Нет. Пытался достать, но ничего не вышло.

— Я вот привез одну книгу. Возьми. Прочтешь, я тебе еще кое-что дам. Только не оставляй ее на столе.

К лету 1885 года Саша много прочел политико-экономической литературы, потолкался в кружках, и у него выработался свой взгляд по многим вопросам. Собираясь домой на каникулы, он положил в чемодан вместе с другими книгами и «Капитал». Он говорил, что с этим трудом Карла Маркса ни одна книга в мире не может сравниться.

Илья Николаевич видел, какие книги читает сын, что его занимает. В это лето у него было особенно подавленное настроение. Он часто рассказывал Саше о том, как тяжело стало работать, какие трудности переживают народные школы. Он был недоволен политикой правительства в области народного просвещения и не скрывал этого.

— Но что же, по-твоему, следует делать? — спрашивал Саша.

— Сам не знаю,—откровенно признавался отец.— Реакционные установки исходят от обер-прокурора священного синода Победоносцева. А нынешний министр Николаи все делает под его диктовку.

— Ты неодобрительно относишься к террору. Но ведь правительство вынудило интеллигенцию взяться за бомбы, отняв у нее всякую возможность мирной борьбы за свои идеалы! Правительство игнорирует потребности общественной мысли, оно жестоко пре-

следует всякие попытки интеллигенции мирного, культурного воздействия на общественную жизнь. И что же получается? Интеллигенция на усиление реакции отвечает усилением террора, как единственной возможной формы борьбы за свободу мысли, свободу слова, за участие в управлении страной. И если ты хочешь знать мое мнение о том, как нужно решать вопрос народного просвещения, то вот оно: начальное образование должно быть даровым и обязательным для всех.

— Саша, ты говоришь о совершенно невозможных вещах! — воскликнул Илья Николаевич. — Об этом можно только мечтать!

— Папа, ты хорошо помнишь, что Писарев говорил о мечте? «Разлад между мечтой и действительностью не приносит никакого вреда, если только мечтающая личность серьезно верит в свою мечту...» Да ты же и сам писал в одном из своих отчетов, что на пожертвованиях народное образование не двинется с места. Для того чтобы произвести коренные улучшения, правительству нужно его взять под контроль. Я с этим совершенно согласен, но убежден: этого наше правительство никогда не сделает по доброй воле. А между тем выдели оно хоть сотую долю тех средств, которые тратятся на содержание охранки и полиции, эта мечта претворилась бы в действительность. Нет, папа, серьезные вопросы можно решать, только борясь с основными препятствиями. Нужно уничтожить главное зло нашей жизни — деспотизм.

— Как уничтожить?

— А это трудно сказать. Одно только я знаю из истории революций: ни один деспот пока еще не отдавал своей власти по доброму совету. Всегда это сопровождалось борьбой. Так было во Франции, так было в других странах. Не исключена возможность, что так будет и у нас. И если сейчас все молчат, то, уверяю тебя, это явление временное. Вечно такое положение продолжаться не может. У людей, как известно, есть предел терпению. И мне кажется, это вот-вот даст себя знать.


Александр Ульянов
в возрасте 12 лет.


Александр Ульянов
в возрасте 17 лет.



Дом Ульяновых в Симбирске. Вид со двора.

Гостиная в доме Ульяновых.

— Я не совсем понимаю тебя.

— Если Россия в экономическом развитии повторит, положим, путь Франции, то где гарантия, что на улицах Петербурга не будет баррикад? — Саша взял с книжной полки «Капитал», продолжал: — Послушай вот, что пишет Маркс: «Страна, промышленно более развитая, показывает менее развитой стране лишь картину ее собственного будущего».

Необыкновенная начитанность Саши, его глубокое понимание социальных вопросов и железная логика суждений поражала Илью Николаевича. Они часами спорили, гуляя по саду, и, когда к ним подбегал маленький Митя, Илья Николаевич, прервав разговор, спрашивал:

— Что тебе?

— Я так...

— Иди гуляй. У нас деловой разговор...

Митя не мог понять, что случилось. Раньше никогда такого не было, чтобы папа не разрешал ему слушать то, о чем он говорит с Сашей.

Когда Аня уезжала в Петербург, отец, прощаясь с ней, просил:

— Скажи Саше, чтобы он поберег себя хоть для нас... И пиши, пожалуйста, чаще. Сейчас такое время...

Заметил Митя и другое: письма от Саши мать не вскрывала, пока не приходил отец. И, только прочитав письмо Саши вдвоем, в кабинете отца, мама читала его всем. Письма Ани мама вскрывала сразу и тут же читала их вслух. Саша писал коротко и так скупо, что Мите казалось: он что-то недоговаривает, о чем-то не хочет рассказывать. Этим летом Митя возле села Таминки нашел кристалл гипса и отдал Саше, который обещал показать его в университете. Он с нетерпением ждал, что же Саша напишет ему.

Наконец пришло от Саши письмо. Все собрались в столовой, мама говорит:

— Слушай, Митя. Здесь и о твоем кристалле.

Митя замер. Что ж это ученые сказали о его находке? Саша пишет, что он был у зубного врача, что он доволен новой хозяйкой...

— «Недавно мы ездили с Анней, — читает мама, — и одним моим товарищем в Кронштадт. Но прогулка эта была не очень удачна; мы не успели посмотреть ни крепости, ни морских кораблей, да и на пароходе было тесно и холодно. Передай Володе, что я не успел еще поискать той книги, которую он просил меня прислать... Мите передай, что тот гипсовый кристалл, который он нашел, взяли с удовольствием в наш минералогический кабинет».

— Все? — невольно вырвалось у Мити.

— Да.

Митя обиженно засопел: такой кристалл, и так мало о нем написано! Мама заметила это, успокоила:

— Не обижайся. Летом он приедет и все подробно тебе расскажет. А пишет он всегда ведь коротко...

6

Осенью 1885 года возникла идея объединения разрозненных кружков землячеств в единый союз. Землячества ставили перед собой безобидные задачи: организацию касс взаимопомощи, студенческих столовых, библиотек. Но властям это тоже казалось крамолой, и землячества существовали нелегально. На одном из собраний «Союза землячеств» Саша познакомился с Сергеем Никоновым. И Никонов и Саша почувствовали то внутреннее доверие друг к другу, которое меньше всего можно объяснить словами и фактами. На Никонова Ульянов произвел впечатление человека не слова, а дела: хотя он и мало говорил, но все сказанное им было так весомо, что невольно чувствовалось: это идет из самой души.

После заседания они разговорились и оба радостно отметили: их взгляды во многом совпадают. Да не только по вопросам, связанным с деятельностью «Союза землячеств», но и по ряду других. Никонов в это время принимал участие в занятиях «экономического» кружка и, почувствовав в Ульянове недюжинный ум и широту интересов, решил привлечь и его туда.

К приходу Ульянова в кружок там уже занимались не только политэкономией, но и политическими вопросами. Круг людей был небольшой, все доверяли друг другу, и беседы носили довольно откровенный характер. Саша, по своему обычаю, больше слушал, чем говорил.

Никонов доставал ему нелегальные издания народников, и он ночи напролет просиживал за их чтением. Некоторые книги давал и Ане. Однажды она взяла у него запрещенную брошюру. Саша не предупредил ее, чтобы она обращалась с ней осторожнее. Аня, человек совершенно не искушенный в конспиративных делах, прочитав брошюру, понесла ее Саше, как обыкновенную легальную книгу. Тот удивился, спросил:

— Ты ее так, незавернутой, даже по улице несла?

— Да ведь тут близко, кто же у меня в руках будет читать, какая она? — оправдывалась Аня.

— Все же никогда не видел, чтобы нелегальные книжки так носили, — сказал Саша с улыбкой.

Восьмого февраля отмечалась годовщина основания университета. Саша хотел закончить свой научный труд в январе, чтобы попасть на конкурс. Работы было еще довольно много, а времени оставалось мало. Аня задолго до каникул начала собираться домой, спрашивала его:

— Саша, ты поедешь?

— Нет.

— Ну почему же?

— Надо закончить работу. У меня не хватает времени на все, и тратить его на поездку домой я... просто не могу. Ты не обижайся на меня, но... Да ты же сама видишь, как много у меня неотложных дел.

— Но когда-то и отдохнуть надо. И соскучились там все. Ну? Давай сделаем так: поедем вместе, а потом ты раньше вернешься. Я просто представить себе не могу, что я отвечу маме, когда она спросит, почему ты не приехал. Мне лучше, пожалуй, тоже остаться...

— Нет, нет. Ты поезжай, а то маме совсем тоскливо будет.

Аня, поняв, что уговаривать его бесполезно, со слезами на глазах уехала одна. Чувства ее одолевали самые противоречивые: ей и дома хотелось побывать, так как в Петербурге она по-прежнему чувствовала себя одиноко, и неловко было, что Саша остался работать, а она едет отдыхать.

7

Настроение у Ильи Николаевича после очередного объезда школ было очень подавленное. Реакция начала особенно ярое наступление на все то, что было завоевано народными школами с такими огромными трудностями. Из школ под всевозможными предлогами изгонялись самые честные, преданные делу учителя. Илья Николаевич защищал их, но ему это не всегда удавалось. К свободомыслящим учителям приклеивались ярлыки «неблагонадежных», против них выдвигались самые нелепые обвинения.

В официальных постановлениях указывалось: «...духовно-нравственное развитие народа, составляющее краеугольный камень всего государственного строя, не может быть достигнуто без предоставления духовенству преобладающего участия в заведовании народными школами». Попы, против которых столько лет воевал Илья Николаевич, таким образом, официально признавались главными руководителями народных школ.

В первой половине декабря Илья Николаевич объезжал школы Карсунского и Сызранского уездов. Зима стояла холодная, вьюжная. На дорогах были переметы, сугробы. Мороз пробирал Илью Николаевича до костей, а в школах тоже приходилось сидеть в шубе, так как топить там было нечем, и он только вечером, за стаканом чаю, согревался. От угара постоянно болела голова, и ему стоило больших трудов заниматься и вечером. А от своего правила он не отступал: записи о впечатлениях дня всегда велись по свежей памяти.

Еще перед отъездом из дому, он получил письмо Ани, в котором она сообщала, что каникулы проведет дома. Он написал, что встретит ее в Сызрани и они вместе вернутся домой. Распрощавшись с учителем Жадовского двухклассного училища Кирилловым, у которого он ночевал, Илья Николаевич поехал на станцию Никулино. В Никулино его встретил инспектор Красев и вызвался проводить по железной дороге до Сызрани. За две недели постоянных переездов от одной школы к другой, споров, огорчений Илья Николаевич так устал, что когда сели в поезд, прилег на полке вагона — ехали они в третьем классе — и не заметил, как уснул. Во сне он вытянул ноги, загородив ими проход. Кондуктор грубо толкнул его, сказал:

— Подбери ноги-то, старик! Ты весь проход загородил.

Илья Николаевич открыл глаза, но со сна не мог понять, что от него требуют. Инспектор Красев сказал:

— Ваше превосходительство, вы проход стеснили...

Услышав титул лежащего, кондуктор вытянулся в струнку и принялся извиняться. Илья Николаевич остановил его, мягко сказав:

— Ничего, ничего... Проходите, теперь можно пройти...

— Нет, вы извините меня, — не отставал кондуктор.

— Да за что же? — смущенно говорил Илья Николаевич. — Меня извините... Я ведь стеснил проход...

Когда проводник, наконец, отстал от него, он сказал Красеву:

— Вот он, рабства дух. Знает ведь, что не виноват, а все равно унижается. Устал я что-то и промерз основательно... — запахивая шубу, говорил Илья Николаевич. — И вообще последнее время я чувствую, что уже не те силы. Совсем не те. Годы берут свое.

— Илья Николаевич, вам ли на годы жаловаться! Ваш родитель сколько прожил?

— Да более семи десятков. Но то был особой статьи человек. Он женился почти в моем возрасте. Он у меня так и остался в памяти: вечно сидит у своего массивного, низкого стола, ссутуля широкую спину. И локоть правой руки, как челнок ткацкого станка, движется, движется... Так это мы что, уже подъезжаем?

— Кажется...

— А что же Саша? Почему не приехал? — первое, что спросил Илья Николаевич, встретившись с Аней, и в тоне его было искреннее огорчение.

— Он заканчивает научную работу. Хочет представить ее на конкурс, а времени осталось мало.

— И как успехи?

— Хорошо. Мне передавали, что профессор Вагнер хочет забрать его после окончания университета на кафедру зоологии, а профессор Бутлеров настаивает, чтобы Саша избрал своей специальностью химию.

— Вот как!

— Да. И это конкурсное сочинение для Саши очень важно.

— Тогда, ясно, — повеселел Илья Николаевич. — Да, из Саши выйдет ученый. Здоровье только у него слабовато, и это меня больше всего беспокоит. Как он себя чувствует?

— Неплохо. Я его часто вытягивала на прогулки. Он регулярно занимается гимнастикой. Провожая меня, говорил, что все лето будет отдыхать. Ну, а что дома? Как твои дела?

— Плохо, Аня, — вздохнул Илья Николаевич. — Даже очень плохо.

— А что такое? — встревожилась Аня и только сейчас, пристально поглядев на отца, заметила, что он сильно постарел за эти несколько месяцев. Глаза глубоко запали и как будто даже потускнели. Выражение лица унылое, чего с ним почти никогда не бывало. Говорит вяло и с каким-то странным оттенком обреченности в голосе.

Мела поземка, лошади с трудом пробирались сквозь сугробы. Илья Николаевич, кутаясь в енотовый воротник шубы, глухо говорил:

— Гибнут все труды моей жизни. Ты помнишь священника Богоявленского?

— Того, что бил школьников?

— Да, да. Я тогда встал на защиту учителя Перепелкина. После длительной и утомительной переписки — мне пришлось обращаться даже к епископу — священник был удален из школы. И дети, и крестьяне, и учитель — все свободно вздохнули. А теперь этого Богоявленского опять определили законоучителем. Он с еще большим ожесточением издевается над детьми.

— И ты ничего не можешь сделать?

— Многое просто не в моих силах. Руководство школами сейчас, по сути дела, передано министерству внутренних дел. Ну, а какие из полиции воспитатели, это всем известно. У них разговор короткий: неблагонадежный — вон! А эта неблагонадежность нередко выражается в том, что учитель просто не поладил со священником. В губернском училищном совете я несколько раз настаивал, чтобы все отзывы и характеристики на учителей составлялись не полицией, как это сейчас повелось, а дирекцией народных училищ. Нет, слушать меня никто не стал. Я уже, грешным делом, иногда думаю: зачем земства, советы, если за них все решает полиция? — Илья Николаевич вспомнил разговор с Сашей прошлым летом именно на эту тему, спросил: — Ну, а чем Саша занимается, помимо учебы? К нам дошли слухи, что студенты организовали демонстрацию в годовщину отмены крепостного права. Так ли это?

— Да.

— И полиция разрешила?

— Нет. Просто поздно хватилась.

Помолчали. Илья Николаевич, видимо, ждал, что Аня скажет, принимали ли они с Сашей участие в демонстрации, но она не говорила, а он не находил удобным спрашивать.

8

В конце года у Ильи Николаевича всегда накапливалось много работы по составлению отчета. 6 января у Ульяновых был вечер, и Илья Николаевич танцевал польку в кругу своих сослуживцев и друзей. 11 января он почувствовал себя плохо. Мария Александровна встревожилась и послала Володю за врачом. Обычно у Ульяновых бывал врач Кадьян — народоволец, сосланный в Симбирск. В это время он был в отъезде, и пришлось пригласить другого врача. Тот осмотрел Илью Николаевича и сказал, что нет ничего серьезного.

— Гастрическое состояние желудка, — успокоил он Марию Александровну. — Это безопасно.

Илья Николаевич никогда ничем не болел. Устанет в поездке, отдохнет дома и опять бодр и весел. Марию Александровну, никогда не видевшую мужа в таком состоянии, мучила безотчетная тоска. Вечером она позвала Володю, сказала:

— Сбегай, сынок, еще к доктору. Отец хотя и говорит, что чувствует себя неплохо, но у меня что-то очень непокойно на душе.

Врач пришел, но повторил то же самое, что сказал в первый раз. Мария Александровна попросила его все-таки зайти еще утром. Ночь на 12 января Илья Николаевич почти не спал. Аня с вечера читала ему бумаги, но, увидев, что он заговаривается, попросила прекратить работу и отдохнуть. Пришедший утром врач нашел, что состояние здоровья улучшилось и дело пошло на поправку. Сам Илья Николаевич, видя, как жена встревожена, говорил, что ему лучше. Но обедать в столовую не пришел, сказав, что нет аппетита.

— Тебе нехорошо? — спросила Мария Александровна.

— Что-то стесняет грудь...

Два часа спустя он содрогнулся всем телом и затих. Мария Александровна думала, что с ним обморок, кинулась звать Аню и Володю. Володя помчался за врачом, тот осмотрел Илью Николаевича

и объявил: кровоизлияние в мозг. Мария Александровна не поверила ему и продолжала думать, что это только обморок...

Вера Васильевна Кашкадамова, ставшая за эти годы близким другом семьи Ульяновых, о смерти Ильи Николаевича услышала только на другой день. Она не поверила страшному известию, побежала к Ульяновым и увидела: Илья Николаевич лежит в своем вицмундире спокойно и будто улыбается. Она смотрела на него, и ей казалось: он вот-вот встанет, засмеется и скажет, что пошутил.

Мария Александровна, спокойная, без слез и жалоб, опустив голову, стояла у гроба. Володя все время находился подле нее. Лицо его было бледно, брови сурово сдвинуты. Младших детей старались удержать наверху, но это удавалось плохо.

— Мама, как же быть с Сашей? — спрашивала Аня. — Может, телеграмму послать?

— Нет. Напиши письмо кузине. Она врач, пусть подготовит его.

— Я тоже так думаю, — поддержал Володя мать.

9

Днем Саша трудился в лаборатории, ночью — дома. У него был рассчитан не только каждый день, но буквально каждый час. Случалось даже, что он по три ночи подряд не спал.

— Александр Ильич, — говорил ему утром Иван Чеботарев, с которым он жил вместе, — эдак вы плохо кончите. Нужно хоть час, хоть два поспать.

— Спасибо за добрый совет, — вставая из-за стола и разминаясь, отвечал Саша. — Но где же вы раньше были? Теперь уже утро.

Когда Саша совсем выбивался из сил, то, ложась спать, оставлял Чеботареву записку с просьбой разбудить в определенное время. Спал он так крепко, что поднять его можно было только одним способом: стащить с кровати.

— Долго будили?

— Добрый час.

— В следующий раз лейте на голову холодную воду.

Работа над сочинением уже подходила к концу, и вдруг страшная весть: умер отец. Тут и нервы Саши не выдержали: он несколько дней не мог работать. Больше всего угнетало то, что он отказался поехать домой и один из всей семьи не проводил отца в последний путь.

— А как Аня просила меня хоть на несколько дней поехать! — говорил он Чеботареву. — Точно предчувствовала, что несчастье приближается.

Но как ни тяжела была душевная рана Саши, силой воли он заставил себя продолжать работу. Спустя неделю он вновь сидел ночи напролет, заканчивая сочинение. Чеботарев, вернувшись домой и застав его за столом, глазам своим не поверил. А когда Саша сдал на конкурс сочинение, он восторженно сказал:

— Удивительный вы человек!

Александр Ильич только нахмурился и ничего не ответил. Он сам не любил восторгаться и неприятно чувствовал себя, когда это делали другие, тем более если разговор шел о нем.

В одном из писем Аня прислала газету «Симбирские губернские ведомости» с описанием похорон отца. «Вынос тела Ильи Николаевича и погребение, — читал Саша, — происходили 15-го января. К 9-ти часам утра все сослуживцы покойного, учащие и учащиеся в городских народных училищах, все чтители его памяти и огромное число народа наполнили дом и улицу около квартиры покойного... Одним из учителей приходских училищ г. Симбирска была сказана речь. Гроб с останками покойного был принят на руки его вторым сыном, ближайшими сотрудниками и друзьями. Процессия направилась в приходскую церковь...

Впереди венки от всех. «От приходских учителей и учительниц города Симбирска, пораженных безвременной утратой руководителя и отца», «От Симбирского трехклассного городского училища незабвенному начальнику».

Всем известна в Симбирске прекрасная семья Ильи Николаевича. Да поможет господь супруге его, пользующейся заслуженною известностью образцовой матери, выполнить с успехом великое дело воспитания и образования оставленных на ее попечении детей...»

Некролог занимал всю газетную полосу. Саша несколько раз прочел его, и все-таки ему еще не верилось, что он никогда уже не увидит отца.

Третьего февраля состоялось решение по итогам конкурса. «Сочинение студента VI семестра Александра Ульянова, — гласила запись в протоколе, — на тему: «Об органах сегментарных и половых пресноводных Annulata» удостоить награды золотой медалью».

Мать, узнав об успехе Саши, горько плакала, говорила:

— Как бы отец порадовался этому...

10

После смерти Ильи Николаевича семья осталась буквально без всяких средств к существованию. Решение вопроса о назначении пенсии затянулось, и Марию Александровну тяжелые материальные затруднения вынуждали просить единовременного пособия. «Пенсия, к которой я с детьми моими представлена за службу покойного мужа моего, — пишет она попечителю Казанского учебного округа 24 апреля, — получится, вероятно, не скоро, а между тем нужно жить, уплачивать деньги, занятые на погребение мужа, воспитывать детей, содержать в Петербурге дочь на педагогических курсах и старшего сына, который кончил курс в Симбирской гимназии. получил золотую медаль и теперь находится в Петербургском университете, на 3-м курсе факультета естественных наук, занимается успешно и удостоен золотой медали за представленное им сочинение. Я надеюсь, что он, с помощью Божьей, будет опорой

мне и меньшим братьям и сестрам своим, но в настоящее время он, как и остальные дети, еще нуждается в моей помощи, ему нужны средства, чтобы окончить курс, и вот за этой помощью я обращаюсь к Вам...»

Аня, видя такие материальные затруднения, не знала, что делать: ехать ли ей в Петербург, или остаться дома. Мария Александровна была за то, чтобы Аня продолжала учебу. Ане было трудно оставлять мать одну после такого несчастья. Но твердость и выдержанность матери, мужественно переносившей тяжелое испытание, ее уверения, что Аня не должна из-за нее оставаться дома, заставляли ее колебаться. Она боялась, что дома не сумеет подготовиться к экзаменам, несмотря на то, что Саша обещал выслать все нужные книги, а Володя — хотя у него самого было много уроков и он к тому же занимался с учителем чувашом Охотниковым, готовя его к аттестату зрелости, — вызвался ей помогать по-латыни.

Ане не особенно нравилось, что ей приходится заниматься под руководством младшего брата, гимназиста, но Володя так интересно и живо вел уроки, что она вскоре совсем по-другому стала относиться к «противной латыни». Когда Аня высказывала сомнение, что можно в короткий срок пройти весь гимназический курс, Володя говорил:

— Ведь это в гимназиях, с бестолково поставленным преподаванием тратится на этот курс латыни восемь лет, а взрослый, вполне сознательный человек может пройти его в два года...

Саша советовал Ане остаться дома, но в конце со свойственной ему деликатностью писал: «Конечно, все это не может иметь большого значения для тебя, потому что главное... — насколько удобно оставить маму, — гораздо виднее тебе». После долгих колебаний Аня решила сделать то, чего ей больше всего хотелось, — ехать. Но как только она очутилась в Петербурге в своей комнате, наедине с книгами, она поняла: сделала ошибку. Но она нужна была матери для поддержки, а ей необходима ее близость, близость всей семьи. Занятия не шли на ум: она терзалась мыслью, что оставила мать одну в ее горе,

казнилась тем, что в последнее время недостаточно внимательна была к отцу.

Кончилось это самобичевание тем, что Аня не смогла сдать двух последних экзаменов и попросила перенести их на осень, чтобы уехать вместе с Сашей домой. Денег у них только-только хватило на дорогу, и они решили не откладывать отъезд. Но как только сели в поезд, Аня вдруг со слезами на глазах начала упрашивать Сашу вернуться назад. Клялась, уверяла, что она совсем не больна, а просто поленилась, струсила. На одной из остановок она выскочила из вагона, заявила с возмущением:

— Разве ты можешь не пускать меня?

— Я не могу не пускать тебя, но я говорю только, что вернусь тогда вместе с тобой.

На пароходе Аню мучили какие-то кошмары, ее тянуло даже броситься за борт, и только сознание того, что она причинит страшную боль матери, удерживало ее от этого поступка. Саша всячески старался успокоить ее, проявлял трогательную заботливость, но на Аню ничто не действовало. Он даже букетик анютиных глазок добыл на пристани, зная, что Аня всегда радовалась им, но она ответила только:

— Мне теперь не до них.

Дом свой Саша не узнал: так в нем все изменилось со смертью отца. Материальные затруднения заставили мать отдать половину комнат внаем. Там, где столько лет Саша жил с Володей, поселились чужие люди. Мама перебралась наверх, к Оле и Маняше, а Володя и Митя заняли ее комнату. Окно этой комнаты выходило во двор, летом оно было затянуто железной сеткой. Тут чаще всего Саша сражался в шахматы с Володей. Однажды к дому подбежала девочка и, увидев в освещенном окне две неподвижно застывшие фигуры, крикнула:

— Сидят, как каторжники за решеткой!

Саша и Володя быстро оглянулись и пристальным взглядом проводили убегавшую от окна девочку.



ГЛАВА ШЕСТАЯ

1

Правительство закрыло журнал Салтыкова-Щедрина «Отечественные записки», лишив революционную демократию ее главной журнальной трибуны. На этот реакционный акт передовая студенческая молодежь ответила двумя листовками «К русскому обществу» и принялась собирать подписи под адресом Салтыкову-Щедрину. Инициаторами были студенты московских учебных заведений. За несколько дней — это, разумеется, делалось нелегально — под адресом собрали более шестисот подписей. Избрали депутатов, которые поехали к Салтыкову-Щедрину.

После арестов среди студентов, готовивших ему адрес, московский обер-полицмейстер запрашивал директора департамента полиции, «как поступить относительно Салтыкова, то есть допросить его только как свидетеля или же произвести у него обыск и действовать затем согласно его результатам».

В письме к критику Анненкову Михаил Евграфович спустя несколько дней после закрытия журнала жаловался: «Неужели я, больной, издыхающий, переживу эту галиматью! В городе разные слухи ходят: одни говорят, что я бежал за границу, другие — что я застрелился; третьи, что я написал сказку Два осла и арестован... Сколько я в эти две недели пережил, сколько в целые годы не переживал». Именно в это время Аня услышала, что Щедрин арестован, и сказала Саше.

— Это наглый деспотизм — лучших людей в тюрьме держать, — сказал он негромко, но с такой силой возмущения, что Ане стало как-то не по себе.

Весть об аресте любимого писателя потрясла Сашу. Весь вечер он ни о чем другом не мог говорить. Аня ругала себя, что не могла удержаться и передала непроверенный слух. И когда она на второй день узнала, что слух ложный, то тут же помчалась к Саше.

— Хорошо, что обошлось, — вздохнул Саша.

— Говорят, он очень болен, — тихо сказала Аня.

— От такой травли не мудрено и умереть. Аня, а знаешь что? — вдруг оживился Саша. — Давайте организуем депутацию к нему, поднесем адрес.

Так и решили.

Собирались у Ани. Первыми пришли Саша с Шевыревым. Оба были в хорошем настроении, смеялись, шутили. Шевырев передавал где-то слышанные им рассказы о Салтыкове-Щедрине.

— Когда убили Судейкина, — рассказывал он,— в редакцию зашел земский деятель и спросил: «Михаил Евграфович! Слух идет, революциоиеры убили какого-то Судейкина. За что они его убили?»

«Сыщик он был», — ответил Щедрин.

«Да за что же они убили его?»

«Говорят вам по-русски, кажется: сыщик он был».

«Ах, боже мой, — продолжал земец, — я слышу, что он был сыщик, да за что же они убили его?»

«Повторяю вам еще раз, — гневно хмурясь, отвечал Щедрин, — сыщик он был».

«Да слышу, слышу я, что он сыщик был, да объясните мне, за что его убили?»

«Ну, если вы этого не понимаете, так я вам лучше растолковать не умею. Обратитесь к кому-нибудь другому!»

Так земский деятель и ушел, ничего не поняв. Все, кто встречался со Щедриным, в один голос говорят: крутой старик!

Пришел студент Мандельштам, договорились, что он скажет приветственное слово, и двинулись в путь. День выдался ясный, с морозцем, и вся компания единодушно решила пройтись пешком. На Невском всех охватило то особое возбуждение, которое вызывает ослепительная белизна снега и бодрящий зимний воздух. Все шутили, смеялись, совсем забыв о том, что идут к больному человеку. Саше тоже передалось общее приподнятое настроение, и он не заметил, как подошли к дому Салтыкова-Щедрина. Петр Шевырев позвонил значительно настойчивее, чем полагалось. Дверь не открывалась. Шевырев хотел еще раз позвонить, но Саша остановил его:

— Подождем...

Прошла еще минута, в дверях появилась девочка и настороженно окинула взглядом неожиданных гостей. Она хотела что-то сказать, но Шевырев заявил тоном, не терпящим возражений:

— Делегация учащихся. Нам нужно видеть Михаила Евграфовича. Неотложно!

Девочка, ничего не ответив, ушла. Все замерли: примет ли? Может, он действительно так болен, что с постели не встает? Ведь о том, что состояние его здоровья ухудшилось, писалось даже в газетах. Саша хотел уже предложить вернуться, как в дверях

появилась девочка, тихо сказала, как бы предупреждая, что в доме больной:

— Пожалуйте...

Шевырев и Мандельштам пошли первыми, Саша — замыкающим. Девочка провела через несколько комнат, потом остановилась перед закрытой дверью, окинула всех строгим взглядом и открыла ее. Саша увидел: посреди комнаты стоит длинный, худой старик в потертом суконном халате вишневого цвета и в упор смотрит прямо на него большими выпуклыми глазами. Саша вздрогнул, встретив этот взгляд: такая в нем была тоска. Саша не мог выдержать его взгляда и, отвернувшись, скользнул глазами по комнате. Огромный письменный стол у окна завален книгами, рукописями и лекарствами. Склянки и бутылки стоят и на этажерках и на столике — всюду. Постель не убрана: Михаил Евграфович, видимо, только поднялся с кровати. Запах в комнате точно в больничной палате. Саше стало не по себе: он понял, что их приход в тягость больному. То же почувствовали, видимо, и другие, а потому и стояли все кучкой у двери, не зная, что делать. После продолжительного молчания Михаил Евграфович спросил хрипло и глухо:

— Чем могу служить?..

Саше хотелось извиниться, что они потревожили его, но Мандельштам, выступив вперед, тряхнул курчавой головой и сказал так громко и зычно, что Щедрин поморщился:

— Михаил Евграфович! Позвольте поздравить вас, нашего любимого писателя, неутомимого борца за прогресс, верного друга молодежи... Гм!.. Поздравить вас от имени всего студенчества России с днем ангела и пожелать вам доброго здоровья, долгих лет жизни, непереходящего творческого горения! Мы пришли сегодня к вам... Гм... Мы пришли к вам, чтобы засвидетельствовать свою глубокую...

Щедрин глухо, надрывно закашлялся, сотрясаясь всем худым телом. Кашлял он долго и мучительно, придерживаясь дрожащей рукой за спинку кровати. Саше больно и стыдно было, что они подня-

ли больного человека с постели, что Мандельштам, потеряв всякое чувство меры, начал говорить свою стандартную, ненужную речь.

Откашлявшись, Михаил Евграфович поправил дрожащей рукой спутавшиеся волосы, погладил длинную, отросшую, видимо, за время болезни бороду и поднял на всех полные слез глаза. Тяжело дыша, он каким-то привычным жестом вытер платком глаза, сказал хрипло, с напряжением:

— Бронхит заморил...— Помолчал, не в силах справиться с одышкой, подал Мандельштаму руку.

Когда он подошел к Саше, тот так крепко стиснул его руку, что Михаил Евграфович заворчал:

— Ой-ой! Нельзя же так сильно. Я старенький, мне больно...

— Простите...— пробормотал страшно смущенный Саша.— Я, право...

— Полагали, что у меня железная рука? — как-то весь оживился и просветлел Михаил Евграфович.— Ну, ничего, ничего. Вы ведь жали руку от имени студентов всей России? Не так ли? Передайте тогда им,— с доброй улыбкой закончил он,— что вы отлично исполнили поручение.

Этот короткий разговор немного разрядил натянутую обстановку, все почувствовали себя свободнее, веселее при виде оживившегося Михаила Евграфовича. Но это не могло уже сгладить неловкости от неумелого, ненужного, скомканного приветствия Мандельштама. Саша досадовал на него и, когда возвращались домой, выглядел хмуро и подавленно. Ане он сказал:

— Такая счастливая возможность была поговорить с ним, и мы глупо упустили ее. А теперь когда уж придется. Да и придется ли? — Он прошелся по комнате, продолжал: — Я вот вчера перечитал его сказки. Во всей мировой литературе нет ничего мудрее их. И как он изумительно точно определяет главные явления нашей жизни. Ведь наше поколение точно премудрый пескарь: и живет — дрожит и умирает — дрожит...

2

По возвращении с каникул в Петербург Саша начал поиски заработков. Как-то он прослышал, что через одного своего знакомого, Хренкова, можно достать работу. У Хренкова часто собиралась молодежь. Спорили. Хренков твердил одно и то же:

— Прощение выше мести.

Саша посидел вечера два молча в уголке, послушал, да и перестал к ним ходить. И теперь вот, увидев его, жена Хренкова Софья Германовна удивленно спросила:

— Как это вы решили зайти? Я уж думала, вы и адрес наш забыли. Или мы вас чем-то обидели?

— Нет. Я просто был очень занят, — смущенно улыбаясь, отвечал Саша.

Когда он, наконец, зашел с хозяйкой в гостиную, там было полно народу. На столе, как всегда, стоял самовар, и спор тоже, как всегда, шел на знакомую уже тему.

— Чего народовольцы добились своим террором? — громче всех кричал фельетонист Арсеньев. — Только одного: ненужного кровопролития и взаимного ожесточения. Парадоксально, но факт: они утвердили то, против чего боролись, — самую черную реакцию, какую только знала русская история. Нет и нет! Первое марта доказало полную несостоятельность террора. Теперь нужны другие методы борьбы.

— А именно? — спросил густым басом кряжистый юноша, по обветренному лицу которого Саша заключил, что это один из недавно приехавших сибиряков, земляков Хренкова.

— Нужно решительно покончить с подпольщиной.

— А чем же полиция будет заниматься? — с таким наивным простодушием спросил тот же парень, что все разразились громким смехом.

Не ожидая, пока утихнет смех, — он явно боялся, что его превут, — Арсеньев продолжал излагать свою программу действий:

— Все силы необходимо направить на культурную работу. Идти в земство, учить, лечить. То есть бороться с невежеством народным не бомбами, а книгами...

Поднялся невероятный шум. Все говорили и никто никого не слушал.

— Статистика страшнее динамита! — кричал один.

— Агрономия — вот главная задача, — твердил другой.

Саша хмурил брови и только изредка исподлобья поглядывал на споривших. Он не мог понять, зачем эти люди тратят столько времени на болтовню. Ведь они никогда не отважатся принять участие в борьбе против реакции. Собственное благополучие для них выше человеческих идеалов. О судьбе народа они говорят так же по привычке, как и спрашивают при встречах своих знакомых о здоровье. А между тем только и слышно: «революция», «эволюция», «борьба»...

Когда эта буря в стакане чуть стихала, Хренков неторопливо и таким голосом, словно молитву читал, затянул:

— Не ищите мудрости, а ищите кротости. Победите зло в себе, не будет зла и в ближних ваших, ибо зло питается злом...

У Саши истощилось терпение. Приподняв черные изломанные брови, он сказал, ни к кому прямо не обращаясь:

— Чудаки! Корочкой хлебца хотят человечество осчастливить.

Хренков повернулся к нему, мягко спросил:

— Вы что сказали, коллега?

— Ничего. Удивляюсь, из-за чего спорят люди. Агрономия, статистика, земство, непротивление злу — вот каша-то. А народ как издыхал в грязи, в темноте, так и издыхает.

— А, по-вашему, что же нужно? — с оттенком снисходительности спросил Хренков.

Саше очень хотелось отчитать всех этих праздных болтунов, но он не хотел рисковать: тут можно

было и на шпиона нарваться. Он только больше нахмурился и встал.

— Это, знаете ли, длинная история, а мне пора. В другой раз как-нибудь...

— Вы куда же? — всполошилась Софья Германовна, увидев, что он уходит.

— У меня встреча...

— Если с очень милой девушкой, то отпущу, — играя глазами, говорила Софья Германовна. — А нет, заставлю еще чаю выпить.

— Положим, вы угадали, — улыбнулся Саша.

— Ох, хитрите! — мило погрозила пальчиком Софья Германовна. — Ну, да так и быть, отпускаю. Только с одним непременным условием: вы будете почаще заглядывать к нам. Договорились?

— Боюсь твердо обещать...

— А может, вы по делу приходили?

— Нет, — ответил Саша, которому теперь было особенно неприятно обращаться за помощью к этим людям. — Я просто так...

3

С первой же встречи Орест Говорухин не понравился Ане. Не нравилось ей в нем решительно все: и странная прическа — густые рыжеватые волосы он зачесывал на лоб, потом делал небольшой пробор, раздвигая их к бровям, — и тонкие, как-то желчно сжатые губы, и характерный для кубанцев медлительный говорок с ударением на «о». Он казался ей грубым, неинтересным, неискренним. Ее злило то, что он мог, развалившись на диване, часами сидеть у Саши, подавая односложные, небрежные реплики.

Аня не могла понять, почему он всегда сидит и как будто ждет, пока она уйдет. Что у него общего с Сашей. А если он когда-нибудь и начинал говорить с Сашей при Ане, то посматривал на нее эдаким взглядом себе на уме, и тон его был неискренен. Както Аня не выдержала и сказала, не скрывая неприязни к нему:

— Хитрый вы, Макарыч!

— Я-то хитрый? — удивленно поднял брови Говорухин. — Что вы! Спросите вот Александра Ильича.

— Нет, он не хитрый, — сказал с убеждением Саша, шагавший по комнате, и, хмурясь, спросил: — Ты завтра зайдешь ко мне?

— Не знаю, — с обидой в голосе ответила Аня, поняв, что она мешает Саше, и собралась уходить.

— Куда ты? Посиди еще, — явно ради приличия говорил Саша, подавая ей пальто.

— Нет, я пойду, — отвечала Аня, с трудом удерживаясь, чтобы не расплакаться: так ей было больно сознавать, что Саша что-то таит от нее, в чем-то не доверяет ей, что он ее обществу предпочитает общество этого противного, флегматичного Говорухина.

С мнением Саши Аня всегда считалась и старалась переломить себя, подавить антипатию к Говорухину. Она внимательно присматривалась к нему, стараясь понять, что же хорошего находит Саша в нем, но только открывала новые неприятные черты. И антипатия ее к Говорухину не только не проходила, а все больше усиливалась. Он ей платил тем же, и когда они были вместе, то и разговор не вязался и чувствовали все себя неловко.

4

Студенческим научно-литературным обществом руководил профессор Орест Федорович Миллер. Он терпимо относился к самым противоречивым мнениям по вопросам науки и литературы. Александр Ульянов сразу же оценил это и начал принимать деятельное участие в работе общества.

Осенью 1886 года Александр Ильич был единогласно избран главным секретарем общества. Этой работе он отдавался с энтузиазмом. Вскоре общество благодаря его влиянию стало уделять больше внимания общественно-политическим вопросам.

Студенты валом повалили на заседания общества. Курсистки переодевались в мужские костюмы, чтобы послушать рефераты. Заметили оживление ра-

боты общества и шпики. В рапорте Петербургского охранного отделения, направленном в департамент полиции, сообщалось, где Ульянов живет, кто его родные, с кем он ведет знакомства. И заключалось: «Политическая благонадежность знакомых Ульянова, равно и его самого, весьма сомнительна». В конце рапорта еще раз подчеркивалось, что из всего руководства обществом один Ульянов является личностью в политическом отношении неблагонадежной. И «хотя на основании параграфа 15 устава все заседания общества, его совета и научного отдела и происходят в зданиях университета, но тем не менее предварительные совещания членов общества могут происходить и на частных квартирах, особенно если принять во внимание, что такая личность, как Ульянов, играет в этом обществе выдающуюся роль Секретаря».

5

17 ноября 1886 года исполнялось 25 лет со дня смерти Добролюбова. Студенты решили собраться на Волковом кладбище и отслужить панихиду по Добролюбову. Кто пешком, кто на конке, направились к кладбищу. Но полиция опередила их. Ворота кладбища были заперты, у ограды толпились городовые. Еще больше их пряталось за воротами.

Толпа росла. Студенты требовали открыть ворота, но городовые разводили руками, твердили:

— Не приказано пускать.

— Кем не приказано? — подступали к ним студенты.

— Не можем знать, а не приказано...

Поняв, что от городовых ничего не добиться, студенты пошли в участок звонить градоначальнику Грессеру. По дороге кто-то мрачно пошутил:

— Если Грессер не хотел мертвого Тургенева пускать на кладбище, то живых поклонников Добролюбова он и подавно туда не пустит.

Так и получилось: Грессер не пускал на кладбище. Только после того, как он убедился, что студенты не вняли его увещеваниям и не испугались угроз,

разрешил отнести венки. Около тридцати студентов с пением «вечной памяти» возложили венки на могилу Добролюбова. Проклиная полицию, демонстранты повернули домой. Настроение у всех было воинственное. В сплоченно двигавшейся толпе слышались возмущенные, гневные голоса:

— Варвары!

— Для них ничего нет святого!

— Дикий деспотизм!

— Шакалы! Всех жрут: и мертвых и живых.

После того как шум возмущения утих, началось обсуждение, что делать. Наконец решили пройти в одну из ближайших церквей и отслужить панихиду. Но не успели студенты выйти на Невский, как увидели едущего навстречу им генерала Грессера. Он «отечески» посоветовал:

— Господа, прошу разойтись по домам.

— Почему? — хором спросило несколько голосов.

— Потому, что манифестации устраивать нельзя.

— А молиться и исполнять христианские обряды без разрешения полиции тоже нельзя? — спросил Саша с открытой иронией.

— Нельзя! — отчеканил Грессер, сменив отеческий тон на генеральский, и повернул коня в его сторону. Саша, махнув рукой, решительно пошел вперед, увлекая за собой всех.

Не прошли студенты и одного квартала, как увидели скачущих прямо на них казаков. Выход на Невский был прегражден, и толпа попала в ловушку: слева — решетка Лиговского канала, справа — двор участка, а спереди и сзади — цепи казаков. Проход остался только один: в ворота участка.

Кто-то, подражая елейному голосу Грессера, крикнул из толпы:

— Господа, добро пожаловать в участочек!..

Два казака врезались в толпу, схватили крикнувшего студента и поволокли. За этим первым схватили еще нескольких.

Все поняли: дело оборачивается плохо. Меся грязь, демонстранты собирались в небольшие группы и обсуждали, что же предпринять, чтобы освободить

товарищей. Предложений было много: одни говорили, надо объясниться с Грессером, другие предлагали всей толпой зайти в участок и стоять там до тех пор, пока всех не отпустят. К Александру подошла курсистка Винберг со своим спутником, молодым кандидатом в профессора, растерянно спросила, указывая на казачьи цепи:

— Что же теперь делать?

Саша глянул на стоявшего недалеко от него казака, решительно отчеканил:

— Идти вперед!

— Но куда же вперед? На казаков, на шашки?

В этом вопросе был и испуг и недоумение. Саша посмотрел на растерянную пару, круто повернулся и отошел в сторону. Ему противна была их трусость, и он, не желая говорить им грубости, решил ничего не отвечать.

Противный туман пронизывал до костей, да и голод давал себя знать, а полиция все держала толпу. По другую сторону канала собирался народ, привлеченный необычным зрелищем. Слышались голоса:

— Да за что же их?

— По профессору своему панихиду служить хотели... За это? Эдак, если я по родителям захочу, меня тоже в участок?

— Ежели твой родитель профессор, то там тебе и быть.

— Ну и ну... Эй, друг! Лови-ка булку!

За первой булкой, брошенной через канал в толпу проголодавшихся студентов, полетела вторая, третья. Казачий урядник погрозил нагайкой.

— Эй, там! Не баловать!

Но народ, отгороженный от казаков и городовых каналом, продолжал выказывать сочувствие студентам. Саша внимательно следил за настроением стоявших по ту сторону канала людей, ловил каждое слово. Ведь это был тот народ, о котором он так много думал. Говорили, что народ равнодушен к деятельности революционеров, что он не поддержит их. Нет, ложь это! Народ молчит потому, что он забит, задавлен. Он молчит потому, что видит: царь всесилен.

Но стоит только пошатнуть трон, как народ скажет свое слово.

Надвигался вечер. Тех, кто хотел уходить, начали отпускать, и толпа демонстрантов редела. Когда уже совсем стемнело и студентов осталось совсем немного, Саша с Аней и Говорухиным тоже вышли из цепи. Среди арестованных оказались два однокурсника Саши, Мандельштам и Туган-Барановский. Нужно было немедленно очистить их квартиры. Наскоро посоветовавшись с Говорухиным, Саша помчался на Петербургскую сторону, где жили арестованные.

В тот же вечер задержанных отпустили. Но следующей ночью было арестовано около сорока человек. Всех их полиция выслала из Петербурга. Университет забурлил. У Саши собрались инициаторы добролюбовской демонстрации. Начались споры о том, что же теперь предпринять. Одни советовали собраться у самого Зимнего и потребовать возвращения высланных; другие предлагали взорвать жандармское управление. Раздавались голоса и за подготовку покушения не только на Грессера, но и на царя.

— Мы должны показать правительству, — гневно говорил Саша, — что не склоняем покорно головы! Нужно дать почувствовать, что нельзя безнаказанно оскорблять человеческое достоинство.

6

Политическая обстановка осенью 1886 года была очень сложной и противоречивой. После морозовской стачки, вспыхнувшей в Орехово-Зуеве в 1885 году, рабочее движение приобретает все больший размах. Проходят стачки на Невской мануфактуре, Путиловском, латунном и чугунолитейном заводах.

Эти и целый ряд других стачек неопровержимо доказывали, что рабочее движение принимает новый размах, что оно, становясь организованным, является грозной силой. Но народники, влияние которых на революционное движение было еще очень значительным, не понимали, что основной революционной силой

является пролетариат, и все свое внимание обращали на крестьянство. Они продолжали утверждать, что капитализм в России не будет развиваться. А из этого, в свою очередь, следовал вывод: нельзя рассчитывать на рост рабочего класса.

В это же время за границей плехановская социал-демократическая группа «Освобождение труда» уже вела активную работу по перенесению марксизма на русскую почву. Переводятся на русский язык работы Маркса и Энгельса: «Манифест Коммунистической партии», «Наемный труд и капитал», «Развитие социализма от утопии к науке», «Людвиг Фейербах», «Нищета философии» и ряд других.

Большое значение в идейной борьбе с народниками играли также произведения Г. В. Плеханова, написанные к этому времени, «Социализм и политическая борьба» и «Наши разногласия». Г. В. Плеханов подверг в них теорию народников беспощадной критике «и указал русским революционерам их задачу: образование революционной рабочей партии».

Александр Ильич внимательно следил и за политической жизнью страны и за марксистской литературой. Обладая трезвым и самобытным умом, он в отличие от других своих товарищей симпатизировал социал-демократам, хотя, с другой стороны, разделял многие положения и народников. Как относились другие студенты к социал-демократам, говорит запись в памятной книжке Пахома Андреюшкина: «У них (социал-демократов. — *В. К.*) слово расходится с делом... Каждая жертва полезна; если вредит, то не делу, а личности; между тем как личность ничтожна с торжеством великого дела». В этих словах защита террора, против которого выступали марксисты.

Молодежь жаждала деятельности. Такой деятельности, которая давала бы видимые результаты. Героическая борьба с самодержавием Желябова, Перовской, Кибальчича и сотен других террористов была у всех на памяти. И когда после добролюбовской демонстрации зашел разговор о том, что нужно ударом ответить на удар, все вспоминали о бомбах. Никонов говорил Александру Ильичу:

— Идея цареубийства сейчас укрепилась в умах всех. Она прямо носится в воздухе. Многие задают вопрос: неужели нет людей, которые способны убрать ненавистного деспота? Что вы, Александр Ильич, думаете об этом?

— Момент сейчас действительно выгодный. Но где нужные люди? Средства? Не знаю, как вы, — после паузы продолжал Саша, — но я вполне отдаю себе отчет в том, какое это трудное дело. Одна добыча сведений о жизни царя будет стоить бог знает сколько усилий, а возможно, и жертв.

— А разве у Желябова трудностей было меньше? Наверно, нет. Давайте позондируем почву, поищем людей.

— Надо подумать, — уклончиво ответил Саша.

Этот разговор с Никоновым запал Саше в сердце. Действительно, неужели перевелись на Руси люди, подобные Желябову и Перовской? Неужели поколению его сверстников до конца дней своих суждено терпеть издевательства тупицы царя, которого все презрительно называют мопсом? Нет, что-то нужно делать!

7

Как-то у Саши сидели Шевырев и Говорухин. Шевырев толковал о студенческих кассах, кухмистерских.

— И охота вам, Петр Яковлевич, тратить энергию на такие мелочи? — остановил его Саша. — С вашим организаторским талантом можно ведь устроить кое-что поосновательнее.

— А что, например? — со смехом и ехидцей в голосе спросил Шевырев, глядя на Сашу поверх очков.

— Да, например, покушение, — в тон ему ответил Саша. — Хороший бы террорист из вас вышел.

— Нет, где уж мне! — громко рассмеялся Шевырев. — Я и кухмистерской удовольствуюсь! — И вдруг, резко оборвав смех, спросил: — Это что, к слову сказано или дело есть?

— Пока нет.

— Ну, так теперь я вас спрошу, господа: желаете ли вы заняться террористическим делом? Группа уже есть. Нужны помощники.

Ни Саша, ни Говорухин не ожидали этого. Шевырев не шутил, и все-таки... Когда же организовал он группу? Кто в нее входит? Каков план действий? На все эти вопросы Шевырев отвечал уклончиво и неопределенно. А относительно плана явно не знал, что сказать: то говорил, что план уже выработан, то еще обсуждается. Видно было: Шевырев хитрит. А почему — Саша понять не мог: потому ли, что группы нет или он просто не доверяет им. Саша, не любивший играть в недомолвки, прямо спросил:

— Вы не доверяете нам? Это ваше право. Но скажите, как можно высказать отношение к вашей группе, если мы не знаем, что она собой представляет?

— Именно! — вставил Говорухин. — Если уж нам вступать в группу, то прежде всего на равных правах со всеми.

— Нет! Я не могу познакомить вас с членами группы, — стоял на своем Шевырев. — При теперешних условиях это невозможно.

После долгих споров Шевырев начал сдаваться. Он сказал, что группа готовит покушение на царя. План был такой: стрелять из пистолета отравленными пулями. Саша сказал, что нужно прибегнуть к бомбам, иначе нет смысла и затевать дело. Саша и Говорухин сказали, что подумают, смогут ли принять участие в террористической группе.

— Организацию покушения я делю на четыре сорта, — говорил Шевырев так, точно товар предлагал, в чем сказывалась его купеческая хватка. — Деньги. Изготовление бомб. Организация метальщиков и сигнальщиков. Добывание сведений о жизни царя.

— Ну, ведь царь держит все в страшном секрете, — возразил Говорухин. — А это значит, что следить за ним практически почти невозможно.

— Для вас — да. Я этого и ожидал. А потому ставлю вопрос так: беритесь за то, что можете. Остальное сделают другие. За окончательным ответом я зайду на днях.

8

Арестованных студентов полиция выслала из Петербурга. Официально объявили, что такие меры приняты только по отношению к тем, кто кричал около кладбища. Это была ложь. Полиция воспользовалась демонстрацией, чтобы удалить из Петербурга «неблагонадежных». Студенты, участники добролюбовской демонстрации, решили выпустить прокламацию. Саше поручили составить текст.

«Темное царство, с которым он боролся, — писал Саша, вкладывая в каждое слово свою любовь к Добролюбову и ненависть к царизму, — не потеряло своей силы и живучести до настоящего времени... Он указал обществу на мрак, невежество и деспотизм, которые царили, да и теперь царят в русской жизни. Он не только заставил русский народ обратить внимание на свои язвы; в то же время он указал и средства, которыми они могут быть излечены. Как ни была неприглядна окружавшая Добролюбова действительность, как ни мало было в ней отрадного, он не потерял веры в русский народ, в его будущность. Только невежество порождало темное царство, оно составляло его силу, давало ему возможность подчинить своему гнету лучшие элементы русского народа. И это темное царство гнетет нас и теперь, но мы уже не сомневаемся, что дни его сочтены...»

Рассказав, как вели себя студенты и как поступила с ними полиция, Александр продолжал: «В этой манифестации, предпринятой с совершенно мирными целями и которая могла окончиться немирно, характерен грубый деспотизм нашего правительства, которое не стесняется соблюдением хотя бы внешней формы законности для подавления всякого открытого проявления общественных симпатий и антипатий. Запрещая панихиду, правительство не могло делать этого из опасения беспорядков: оно слишком сильно для этого, и к тому же оно было гарантировано в этом обещанием наших депутатов. Оно не могло также найти что-либо противозаконное в служении панихиды. Очевидно, оно было против самой па-

нихиды, против самого факта чествования Добролюбова. У нас на памяти немало других таких же фактов, где правительство ясно показывало свою враждебность самым общекультурным стремлениям общества. Вспомним похороны Тургенева, на которых в качестве представителей правительства присутствовали казаки с нагайками и городовые...

Итак, всякое чествование сколько-нибудь прогрессивных литературных и общественных деятелей, всякое заявление уважения и благодарности им, даже над их гробом, есть оскорбление и враждебная демонстрация правительству. Все, что так дорого для каждого сколько-нибудь образованного русского, что составляет истинную славу и гордость нашей родины, всего этого не существует для русского правительства. Но тем-то важны и дороги такие факты, как 17 ноября, что они показывают всю оторванность правительства от общества и указывают ту почву, на которой должны сойтись все слои общества, а не только его революционные элементы. Такие манифестации поднимают дух и бодрость общества, указывая ему на его силу и солидарность, они вносят в его серую обывательскую жизнь проблески общественного самосознания и предостерегают правительство от слишком неумеренных шагов по пути реакции...

Грубой силе, на которую опирается правительство, мы противопоставим тоже силу, но силу организованную и объединенную сознанием своей духовной солидарности».

Прокламация адресовалась обществу, и в ней, конечно, Саша не мог сказать всего того, что было у него на душе. Но даже то, что сказал, показывает, с какой ненавистью относился он к самодержавию. Саша прямо заявлял: дни темного царства сочтены, грубой силе будет противопоставлена тоже сила.

До поздней ночи за круглым столом в комнате Саши кипела работа: студенты запечатывали в конверты прокламации, писали адреса и разносили по почтовым ящикам. Провожая Аню, Саша просил:

— Только не бросай по нескольку конвертов

в один ящик. Это может показаться подозрительным, и они вместо адресатов попадут в охранку.

Общество на горячее, взволнованное обращение студентов ответило гробовым молчанием. Но молодежь не успокаивалась. Желание ответить ударом на удар порождало толки о возобновлении террора. Пронеслись даже слухи, что было организовано покушение на Грессера, одно имя которого приводило студентов в ярость. Все более упорно ползли слухи о подготовке покушения на царя.

9

Адреса для рассылки прокламации брали из адрес-календаря Петербурга. Конверты покупались в спешке, в ближайших магазинах, на что не могли не обратить внимания в «черном кабинете», где шла перлюстрация писем. Половина прокламаций вместо адресатов попала в печку, а дворников Петербургской стороны, Васильевского острова и Адмиралтейской части вызвали в участки. Пристав стучал кулаком по столу, кричал на Матюхина, дворника хозяев Ульянова:

— Ты куда, мерзавец, смотришь? Ты как смотришь?

— Да я... Как приказано...

— Как приказано! Дубина! Я тебя, болвана, самого в Сибирь упеку! Я тебя научу, как смотреть за жильцами!

— Ваше благородие...

— Молчать! Эта девка — как ее? — Он полистал бумаги. — Ага! Шмидова! Почему она часто бегает к Ульянову?

— Не могу знать.

— А что делает у него целыми днями студент Говорухин?

— Это какой? Рыжий? В шляпе?

— Да.

— Заходит. Сидит, чай пьет. Уходит...

— А может, что-нибудь приносит? Или уносит?

— Этого не замечал.

Комната Александра Ульянова.

Симбирская мужская гимназия, в которой учились братья Ульяновы.



Владимир Ильич Ульянов (Ленин). 1887 г.

— Осел! На вот, снеси Ульянову повестку. И с этого дня первейшая твоя обязанность — следить за каждым его шагом. Ты должен знать, кто к нему ходит, что у него делает, и немедленно доносить! Понял ты?

— Так точно!

— Ступай тогда. Да смотри у меня!..

— Слушаюсь!

Пока шли аресты и высылки из Петербурга участников добролюбовской демонстрации, Сашу несколько раз вызывали в полицию, но, не добившись ничего, оставили в покое. Он ждал обыска, но полиция на квартире не появлялась. Вдруг прибежала взволнованная Раиса Шмидова, жившая вместе с Говорухиным на одной квартире, спросила:

— У вас полиция была?

— Нет.

— А у нас все перерыли. Я думала, Ореста Макаровича возьмут, но обошлось. У него абсолютно ничего не могли найти, хотя и старались изо всех сил. Он послал меня сказать: будьте осторожны. Офицер спрашивал его, знает ли он вас.

Аресты прошли, а полиция на квартире Саши так и не появилась. И он и Чеботарев думали, что им удалось ловко провести охранку. На самом деле их квартиру не обыскивали, чтобы лучше вести слежку.

Директор департамента полиции П. Дурново писал Грессеру. «Ввиду полученных сведений о сношениях проживающего в Петербурге по Александровскому проспекту в д. № 21, кв. 2 студента университета Александра Ильича Ульянова с лицами, высланными из Петербурга за демонстрацию в день годовщины смерти Добролюбова, Департамент полиции имеет честь покорнейше просить ваше превосходительство не отказать в распоряжении о собирании подробных сведений о деятельности и круге знакомых студента Ульянова и о последующем не оставлять вашим уведомлением».

Второго января 1887 года в департамент полиции

поступил ответ за подписью Грессера, в котором перечислялись все знакомые Ульянова. Однако среди них не было ни одного участника заговора, хотя в это время подготовка к покушению велась уже деятельно. Это говорит о том, что дело было поставлено довольно конспиративно.

Справка охранного отделения заканчивалась так: «Ввиду того, что большинство знакомых суть лица скомпрометированные в политическом отношении, он сам (Ульянов) также должен быть признан за такое лицо».

Слежка за домом усилилась. Агенты тайной и явной полиции постоянно торчали у парадного и под окнами. Дворник тоже изыскивал всевозможные поводы, чтобы заглянуть в квартиру.

Чеботареву Саша сказал:

— Иван Николаевич, некоторые из моих товарищей могут быть серьезно скомпрометированы. Если вы не хотите рисковать, то нам лучше разъехаться. Кому из нас уезжать отсюда, вам решать. Я все равно не смогу снимать сам две комнаты, и если вы хотите здесь остаться, то пожалуйста: я на этой же неделе подыщу для себя что-нибудь.

— У меня уже есть на примете квартира. Тем более что я после окончания диссертации должен буду уехать в Сибирь на статистическое исследование Иркутской губернии. Это сейчас уже решено окончательно.

На новой квартире Чеботарев узнал: к нему приставлены два шпиона.



ГЛАВА СЕДЬМАЯ

1

На квартире Ульянова собирались Лукашевич, Говорухин, Шевырев. За чаем с ситным хлебом велись споры.

— Победа над абсолютизмом везде проходила под гром уличных мятежей, — говорил Лукашевич, — и мы тоже никак не можем рассчитывать на мирную эволюцию государственного строя в России. Нам не обойтись без насильственного воздействия на самодержавие.

— Но на какие же слои общества, на какие

классы мы можем рассчитывать в этой борьбе? — спрашивал Саша. — На крестьянство? Но мы знаем, к чему привели даже крупные крестьянские движения прошлого века. Мы сами видели, чем кончилось хождение в народ. Класс пролетариев в нашей стране еще не вырос в могучую силу, способную нанести удар самодержавию. Остается одно: систематический террор. А если под влиянием террористической борьбы царское правительство созовет учредительное народное собрание, то, вероятно, туда попадет много крестьянских депутатов. Быть может, представители крестьян удовлетворились бы только земельной реформой, оставаясь равнодушными к политической свободе. Тогда революционная интеллигенция вместе с пролетариатом должна продолжать борьбу за свободу, так как политическая свобода есть необходимое условие и залог здорового, нормального развития государства.

— Допустим, — рассуждал Лукашевич, — наихудший оборот вещей: правительство своими полицейскими мероприятиями подавило прогрессивное движение в обществе. Тогда должна произойти задержка в развитии науки, техники и вообще производительных сил России. Это повлечет за собой сильную отсталость страны в экономическом отношении от западноевропейских государств, а вместе с тем и экономическую зависимость от более культурных стран. А экономическая зависимость влечет за собою и политическую. Тут ни обширность территории, ни многомиллионное население не спасут государственной самостоятельности. А сделаться игрушкой в чьих-то руках — такая перспектива не может быть заманчивой даже для царской власти. Чтобы быть в состоянии дать отпор своим соседям, вооруженным с ног до головы, необходимо не только содержать многочисленную армию, но и располагать соответственным техническим аппаратом, то есть нужно иметь сеть железных дорог, свои фабрики и заводы. Одним словом, необходимо поддерживать уровень промышленности на высоте, не слишком разнящейся от состояния промышленности культурных

стран. Отсюда неизбежен вывод: Россия должна пережить фазу капитализма.

— Да, все это верно. Но если предвидится такой ход грядущих событий, то нужна ли террористическая борьба? — высказывал сомнение Саша.

— Да, нужна! И даже необходима! — горячо возражал Лукашевич. — Во-первых, исторический опыт нас учит, что достижение конституционного режима осуществляется раньше, чем сложится сильная влиятельная рабочая партия, и что в борьбе с абсолютизмом принимают деятельное участие и другие заинтересованные группы населения. Во-вторых, сам процесс организации рабочего класса при абсолютизме идет очень туго и болезненно вследствие того, что рабочие в этом случае должны вести борьбу на два фланга: с капиталистами и правительством. В-третьих, под сильными ударами народовольцев заколебалось самодержавие, и не исключена возможность, что от новых ударов оно пойдет на уступки. В-четвертых, наконец, решительная террористическая борьба поднимает боевое настроение передового общества.

— Ничего нет ужаснее сознания общей беспомощности, — говорил Саша, точно думая вслух. — Конечно, силы наши не равны. Но вспомните Ирландию. Когда были затронуты там жизненные интересы общества, а силы борющихся сторон были очень неравны, то ирландцы прибегли к услугам динамита. И если бы все наши передовые слои общества поставили так вопрос: свобода или смерть, — о, мы бы многого сумели добиться. Но какие бы формы ни принимала борьба, одно абсолютно несомненно: молчать нельзя. Активно бороться со всем этим злом не только долг, обязанность каждого честного человека, любящего свою родину, но и его органическая потребность.

— Теперь не время предаваться душевным излияниям скорби, негодования или осуждения, — твердил Шевырев, — надо действовать динамитом.

2

После добролюбовской демонстрации Генералов стал апатичным и угрюмым. Он забросил чтение книг, над которыми просиживал ночи в поисках ответов на мучившие его вопросы. Он уже не только не спорил, по какому пути пойдет Россия, будет ли в ней развиваться капитализм, а с иронической улыбкой слушал и тех, кто говорил об этом. Оставил также попытки завязать сношение с рабочими. Ему не давала покоя одна тяжкая дума: как избавиться от ужасного насилия и произвола?

— Что с тобой, Денисыч? — приставал к нему с расспросами Говорухин.

— Никуда я, брат, не гожусь...

— Это почему же?

— Сил у меня мало.

— Сил мало? Да у тебя их хватит на троих!

— Нет, я себя знаю. Для пропаганды я не гожусь: у меня огня нет в груди для нее. Я решил так: мне надо идти по части бомб!

— Это ты говоришь потому, что в такой волне находишься. С тебя еще выйдет знатный пропагандист.

— Может быть, но не скоро. А времена ныне такие стали серьезные, что никакой сноровки не приобретешь. По-моему, уж если попадаться, то так, чтобы те, враги-то рода человеческого, помнили. А страсть они боятся бомб-то! Вот сам царь. Не показывается из дворца. А что его там держит? Тюремные решетки? Нет, страх! Страх перед бомбами.

Генералову вторил его земляк и друг Пахом Андреюшкин:

— Да когда же, наконец, вы будете что-нибудь делать? Как вы можете рассуждать о всяких высоких материях, как вы можете заниматься науками, когда вокруг вас свирепствует такой дикий произвол? В гимназии над нами так измывалось начальство, что нам надоело бить окна и мы задумали, было, взорвать дом директора. Да не только в нашей, а одновременно во всех гимназиях города. И если

бы меньше было болтунов, то эти взрывы в Екатеринодаре прокатились бы по всей России! Я думал, что хоть здесь свободно вздохну, а оказывается, и университет давно уже превращен в дисциплинарное военное заведение. Мы же не столько учимся, сколько служим всем, начиная от его императорского величества и кончая младшим дворником.

— Но без подготовки тоже ничего сделать нельзя, — возражал ему Говорухин.

— Все слова да слова, — перебивал его Андреюшкин, — а дела нет.

— Слушай, Пахом, — горячился Говорухин, — ты мне надоел упреками в бездействии!

— И очень хорошо, — резко отвечал Андреюшкин, — и буду твердить свое, пока вы не перейдете от болтовни к делу! А если не желаете, если у вас нет на это сил, так и скажите. Это будет по крайней мере честно!

3

В то время когда Шевырев говорил Ульянову и Говорухину, что есть уже группа террористов и им осталось только примкнуть к ней, настоящее положение вещей было такое. Вся эта «группа» состояла из трех человек: Шевырева, Лукашевича и Осипанова. Лукашевич давно уже вынашивал идею террористической борьбы и сам начал приготовление взрывчатых веществ. Шевырев перевелся из Харьковского университета в Петербургский, тоже намереваясь заняться активной революционной работой. Чтобы завести знакомства среди студентов и присмотреться к людям, он устраивал кухмистерские студенческие кассы, ни на минуту не оставляя мысли о террористической борьбе.

По характеру Шевырев был настоящим организатором, и в его руках кипело любое дело. Он умел находить нужных людей, подчинять их своему влиянию. Как он вникал во все мелочи дела, какие обширные знакомства были у него к весне 1886 года, говорит его письмо Лукашевичу из Самары от 19 апреля.

«Любезнейший Лукашевич!

Я к вам с просьбой — я ее просил вам передать Барановского — не знаю, передал ли он ее? На всякий случай еще раз прошу вас. Будьте так добры, Лукашевич, дополучите деньги со следующих лиц: с Рыбалкина — 2 руб. 50 коп., с Власова — 2 руб., с Ульянова — 2 руб., с Сосновского — 4 руб. 55 коп. Кроме этих денег, есть еще сомнительные 8 руб. (сомнительны они потому, что неизвестно наверное, были ли они получены во время вечеринки или нет). Получить эти сомнительные 8 рублей можно через Сосновского (конечно, если деньги не были отданы), напомните ему следующие фамилии — Черкасский и Шваб.

Луценко так и не получил от Миллера денег? Те деньги, которые вам возможно будет получить, будьте так добры, Лукашевич, передайте их моим сестрам или моему брату (В. О., 9-я линия, д. 14, кв. 12), я их просил эти деньги вместе с имеющимися в количестве 82 руб. положить в сберегательную кассу. Затем, Лукашевич, я вас прошу предложить сборный листок Шишкову, он, может быть, возьмет не один, а несколько с тем, чтобы дать кому-нибудь из своих знакомых — у него их немало, — напомните ему, чтобы лицо, которому он решился дать, было, во-первых, хорошо ему известно, а, во-вторых, надеялось что-нибудь собрать, потом можно предложить Власову, Каракашу, Маневскому, Ключерову. Если будете предлагать Иорданскому, то предварительно наведите о нем справки. Скажите Луценко, чтобы он сам взял листок и наделил бы им своих знакомых барышень — у него их немало, но только пусть постарается побольше собрать. Впрочем, я думаю, излишне говорить вам, кому давать листки: небось вы сами уже наметили, кому их предложить. Если не хватит у вас листков, то несколько запасных находится у моих сестер.

Попросите, пожалуйста, Лукашевич, тех лиц, кому вы будете давать листки, чтобы они приблизительно в середине лета написали бы строчку о том,

с каким успехом идет сбор: это для меня важно. Если последняя просьба не затруднит их, то пусть пишут или прямо мне (по такому адресу: Харьков, Рымарская улица, дом № 2, Петру Яковлевичу Шевыреву), или же через вас — это уж как вы найдете удобным. Я на всякий случай захватил с собою сюда 10 листков, из коих три уже успел пустить по рукам (разумеется, надежным).

Потом, Лукашевич, я просил Агафонова позаботиться о гектографировании устава, а Ульянова о том, чтобы к уставу было сделано приложение, в котором нужно упомянуть о том, что параграфы, за которые высказывалось большинство, составляют временный устав, и упомянуть также о том, что те лица, которые пожелают принять участие в нашей кассе, подавали бы голоса за то в уставе, с чем они солидарны, и пригласить их высказываться письменно относительно того, с чем они не согласны в нем, — это, понятно, будет принято во внимание при окончательной редакции устава. Вследствие наступивших экзаменов не следует особенно заботиться о распространении устава — экземпляры его нужно сохранить до будущего учебного года, чтобы отсутствие их не послужило бы помехой нашему делу.

Наконец, Лукашевич, я хотел вам кой-что сказать о желании некоторых групп студентов завязать сношения с другими университетами, чего и последние желают — об этом, впрочем, когда-нибудь до другого раза: уморился писать. В заключение письма я напомню вам, Лукашевич, о том, что раньше уже сказал, что я на вас надеюсь больше, чем на коголибо другого: вы никогда (я в этом твердо уверен) не покинете начатого нами дела (ведь я не ошибаюсь?).

Крепко жму вашу руку.

Шевырев

P. S. Лукашевич, если вам представится удобный случай достать устав какого-нибудь землячества, то воспользуйтесь этим случаем и передайте устав Ульянову.

P. P. S. Если у вас, Лукашевич, есть записки Бутлерова по органической химии и если вы не рассчитываете летом ими пользоваться, то передайте их, пожалуйста, Ульянову (у меня к вам бесконечное количество просьб), я и у него прошу их, но записок у него может не оказаться. У Ульянова же возьмет их мой брат для передачи мне».

Из этого письма видно, как хорошо Шевырев умел расставить людей, поручать им именно то, что они лучше всего умеют делать: Лукашевичу — практические дела по распространению листков, а Ульянову — подготовку устава. Он преклонялся перед умом Александра Ильича, высоко ценил его умение кратко, точно и ясно излагать свои мысли на бумаге. В списке людей, к которым Лукашевич должен обратиться, стоят фамилии не только студентов, но и профессора Ореста Федоровича Миллера, приват-доцента Каракаша.

На почве устройства кассы, кухмистерской и других студенческих дел Шевырев настолько близко сошелся с Лукашевичем, что счел возможным начать с ним переговоры о подготовке покушения. Решили: он будет организовывать группу, а Лукашевич — готовить снаряды и по возможности доставать средства. До добролюбовской демонстрации дело у Шевырева шло плохо. Найденный им один студент в качестве метальщика вскоре проболтался своим знакомым, и его пришлось под благовидным предлогом удалить из Петербурга.

После высылки из Петербурга многих студентов дело у Шевырева сразу двинулось вперед. Свои услуги прямого исполнителя покушения через общего знакомого студента предложил ему Осипанов. Во время встречи с Лукашевичем и Шевыревым — она произошла в ботаническом саду университета — Осипанов сказал:

— Я перевелся из Казани в Петербург с единственной целью: убить ненавистного деспота. Я готов действовать и один и вместе с другими.

Осипанов предложил стрелять в царя из револь-

вера отравленными пулями. Лукашевич и Шевырев отвергли этот план, считая его по опыту неудач Каракозова и Соловьева малонадежным. Осипанов не стал спорить, и сошлись на том, что покушение будет совершено с помощью бомбы. Лукашевич и Шевырев будут готовить ее, а Осипанов тем временем займется изучением местности возле дворца и наблюдением за выездами царя. У Лукашевича не было никаких знакомств, где бы он мог достать готовый динамит и гремучую ртуть. Ему приходилось покупать в аптеках нужные препараты и самому изготовлять все. Учителем его в этом деле был Кибальчич, бомба которого уничтожила Александра II. Чтобы замаскировать бомбу, он решил придать ей форму книги: купил у букинистов медицинский словарь Гринберга, вырезал всю его внутреннюю часть, скрепил болтами, устроил запал по системе Кибальчича и принялся готовить динамит.

Осипанов произвел на Лукашевича и Шевырева очень хорошее впечатление с первого же разговора. А по мере того как они узнавали его ближе, все больше влюблялись. Родом он был из Сибири, закончил Томскую гимназию, зачитывался, как и все в то время, романом Чернышевского «Что делать?». Но если другие только читали роман и восхищались его героями, то Осипанов старался и жить так, как Рахметов: он спал на досках, подбитых гвоздями, ограничивал себя во всем, готовясь к революционной борьбе. Он принимал активное участие в Красном Кресте «Народной воли». Был человеком чрезвычайно осмотрительным, осторожным (за что и получил кличку «Кот»), но в то же время исключительно твердым и решительным. Для достижения поставленной перед собой цели он шел абсолютно на все. Лукашевич восторженно говорил о нем:

— Это идеальный тип бойца боевой дружины! У него не дрогнет рука в решительный момент. Он не потеряет ни самообладания, ни хладнокровия в самую критическую минуту.

Пахом Андреюшкин был земляком Говорухина, Василий Генералов — с Дона. А так как кубанцы и

донцы, приезжая в Петербург, старались держаться вместе, то у них и завязалось знакомство.

За Говорухиным велась слежка, он знал это и постоянно был в мрачном расположении духа. Будучи по характеру своему человеком желчным, он зло подшучивал над мешковатостью типичного казака Генералова, который простодушно все рассказывал о себе. Родители Генералова были не из богатых казаков, и он уже в гимназии жил на заработанные уроками деньги.

— Учился я, — рассказывал Генералов с добродушной улыбкой, — еле-еле. Начальство написало в характеристике: «Индифферентен вследствие тупости».

Начальство, конечно, судило прежде всего по тому, как он относился к латыни. Знал ее действительно плохо, хотя способности у него были хорошие, и ненавидел пуще самого заклятого врага. Генералов рано вступил в революционный кружок и к окончанию гимназии уже определился как революционер. Сходился с новыми людьми он быстро: всем нравились его незлобивость и исключительное чувство товарищества. С другом, не задумываясь, делился всем, что у него было.

Но если Генералов был человеком твердым и ровным, то его земляк и друг Андреюшкин кидался из одной крайности в другую: то он восторгался, то впадал в уныние. Была у него и еще одна страсть, которой не понимал Генералов, — он любил письма. Писал во все концы и простыми чернилами и «секретными». Ему не терпелось о любом деле сообщить все друзьям, и он нередко доверял бумаге то, что могло ему же самому повредить.

Когда Шевырев предложил этим двум казакам вступить в группу и взять на себя роль метальщиков, они долго раздумывали, потом пошли посоветоваться с Ульяновым, которому доверяли многие свои тайны, и, встретив его одобрение, согласились.

— По всей вероятности, будут пытать тех, кто попадет в лапы полиции, — сказал Шевырев. — Во

время пыток никто не может поручиться за себя, поэтому надо запастись цианистым кали...

— Как? — обиделся Андреюшкин. — Я не могу поручиться за себя? Да разве я не казак?

— Пахом! — восторженно воскликнул Шевырев. — Ты настоящий террорист! С такими, как ты, мы Россию перевернем!

— Перевернем или не перевернем, но я сделаю то, что могу.

4

К группе Шевырева примкнули Ульянов и Говорухин. Нужно было сделать не одну, как рассчитывал вначале Лукашевич, а три бомбы. Ни у кого не было таких знакомых, через которых можно достать в готовом виде динамит и гремучую ртуть. Саша хотя и знал хорошо химию, но никогда не занимался приготовлением взрывчатых веществ. Лукашевич занимался пиротехникой. Изготовление бомб для него не представляло трудностей.

Свободная продажа азотной кислоты в аптеках была запрещена, а без нее невозможно приготовить нитроглицерин и гремучую ртуть. Александр Ильич и Лукашевич решили добывать азотную кислоту из калийной соли и серной кислоты. Реакция эта протекает очень медленно. Саше пришлось привлечь к этому делу Андреюшкина и Генералова, обучив их обращению с аппаратурой.

Генералов и Андреюшкин совсем не знали Лукашевича, так же как Ульянов не был знаком с Осипановым. Делалось это в конспиративных целях. Все запасы взрывчатки Ульянов и Шевырев относили на квартиру Генералова, нанятую им специально для этой цели.

Никто не знал, как это ему удавалось, но Шевырев все время добывал довольно точные сведения о выездах царя.

Для трех снарядов необходимо было около 13 фунтов динамита, пятьсот пулек. Да все их нужно начинить стрихнином. Это требовало массу вре-

мени, большого терпения и еще большей осторожности.

Стал подниматься вопрос о создании нескольких групп.

— Одна группа провалится, — говорил Шевырев, — выступит другая.

— Да, но где же взять людей? — спрашивал его Александр Ильич. — У нас и на это покушение едва хватает сил.

— Людей я найду.

— Хорошо. Но делать это нужно быстрее. Впрочем... Я давно уже хотел сказать, да все как-то к слову не приходилось. Мне кажется, мы слишком торопимся. Прошу понять меня правильно: я не за отступление. Дело нужно во что бы то ни стало довести до победного конца! Но не лучше ли его перенести на осень, чтобы по-настоящему подготовиться?

— Как? Откладывать? — всполошился Шевырев. — Да ты уверен, что тебя завтра не возьмут? А я? Да кто из нас может поручиться, что просуществует до осени? Далее. Если слабый попадется правительству да проговорится, то всем нам конец. А за что? Будь что будет, но вперед!

5

Шевырев обладал удивительной способностью быстро сходиться с людьми. Он умел ловко и незаметно подмечать их настроения и, как только улавливал, что человек готов на борьбу, не отставал от него, пока не подчинял своему влиянию. Энергией Шевырев обладал исключительной: несмотря на болезнь, он с утра до вечера мотался по городу. Он вечно торопил всех, вникал в малейшие подробности дела, принимал меры, чтобы оно как можно быстрее двигалось вперед.

Найдя нужного человека и поручив ему какое-то дело, зорко следил за тем, как оно выполняется. Примчится усталый, запыхавшийся, вытрет платком крупный пот со лба и, не присев, спрашивает:

— У вас, конечно, все готово?

Если поручение не было выполнено, Шевырев снимал очки, торопливо протирал, точно хотел получше рассмотреть смущенно стоящего перед ним человека, не столько сердито, как с издевкой спрашивал:

— А что же случилось, батюшка? Вы просто забыли или у вас появились какие-то веские причины? Давайте выкладывайте, мне нужна абсолютная ясность.

И провинившийся, чувствуя себя страшно неловко, начинал объяснять, почему не выполнил поручения. Шевырев поглядывал поверх очков на него так укоризненно, что тому невольно становилось стыдно. Не дослушав до конца объяснение, Шевырев заявлял:

— Извините, батюшка, я спешу. У меня назначена встреча в другом конце города, а времени осталось полчаса. Так я к вам завтра забегу...

Это значило: поручение его надо во что бы то ни стало выполнить. И оно, как правило, выполнялось. Шевырев умел так обращаться с людьми, что ему было очень трудно, а иногда и просто невозможно отказать. Даже если человек что-то не очень хотел делать, он не мог устоять перед ним. Объяснялось это тем, что сам Шевырев постоянно был занят общественными делами.

— Странный механизм этот Шевырев, — сказал как-то Александр Ильич Говорухину, — понять я его не могу.

— А я его, кажется, немного раскусил, — отвечал Говорухин. — Он прежде всего страшный реалист. Он ненавидит все мечтательное и фантастическое. Он относится — это и ты, наверное, успел заметить,— с пренебрежением к сомневающимся, неуверенным людям. Слово «вопрос» для него не существует. Для него существует только уверенность. Эта уверенность, более того — самоуверенность, и есть секрет влияния на людей.

— Преувеличиваешь!..

— Ничуть!

Вспомни, как он нам представил группу: и людей сколько угодно и денег, а на проверку что вышло? Мы с тобой, по сути дела, вступили в мнимую группу. Благодаря этой тактике ему удалось привлечь к делу Генералова, а затем и Андреюшкина.

— Положим, так. Но я не понимаю, в чем же тут его вина? Что мы сами не проявили инициативы?

— Нет, я его за это не виню, — отступал Говорухин. — Я хорошо знаю: инициативных людей очень мало, поэтому все легче примыкают к готовой организации. Но Шевыреву вообще не нравится настойчивость других: он склонен повелевать, приказывать. Помнишь, с каким восторгом он рассказывал о своих переговорах с Генераловым и Андреюшкиным? Что больше всего понравилось ему? Да именно то, что они мало рассуждали и спорили!

— И во всем этом я не вижу ничего предосудительного. Мне, например, вполне понятна радость Шевырева. Я бы тоже очень обрадовался, встретив людей, с полуслова понимающих меня. И, думаю, Шевырев с восторгом рассказывал о том, как он привлек к делу Генералова и Андреюшкина не потому, что они не рассуждали и не спорили, а потому, что он сразу же почувствовал в них своих единомышленников.

6

Как бы ни закончилось покушение — удачно или неудачно, — вероятность ареста была большой. Александр Ильич хорошо понимал это и начал думать о том, как вести себя на суде. Кто должен выступить с программной речью, чтобы царские сатрапы не могли представить их как уголовных преступников? Выкраивая время от занятий и работ по изготовлению бомб, он составлял программу фракции. Речь на суде представлялась ему делом чрезвычайно ответственным. Ведь предстояло выступать после таких корифеев революции, как Ипполит Мышкин, Петр Алексеев, Андрей Желябов. Он знал их страстные, неистовые речи и не считал себя способным на такую роль. Ему казалось, что из всех

участников заговора лучше всего мог бы выступить на суде Сергей Никонов. Придя как-то к нему, он сказал об этом.

— Вы это серьезно? — спросил несколько озадаченный Никонов.

— Да.

— Благодарю за честь. Но, положа руку на сердце, признаюсь: не справлюсь я с этим делом. Нет-нет, и не настаивайте! У меня и теоретическая подготовка весьма поверхностная, и оратор я никудышный. Так еще, в обыкновенном споре, я могу логически изложить свои мысли, а чтобы специально выступать... Клянусь вам, у меня и на две минуты не хватит духу.

— Вы преувеличиваете свои недостатки.

— Александр Ильич, но согласитесь же, что мне не по силам роль Желябова или, например, Петра Алексеева.

— В народе, Сергей Андреевич, говорят: всякое сравнение хромает. Там были одни условия и силы, у нас — другие.

— Согласен. Но разве тот же Лукашевич хуже меня подготовлен? Да и оратор он хороший.

— Не спорю. Лукашевич действительно неплохо мог бы справиться с этой задачей. Но ему, как поляку по происхождению, неудобно. Наше покушение могут представить «польской интригой», основанной на личной мести русскому царю. Сделать это властям будет очень легко: Лукашевич ведь и говорит с польским акцентом.

— Да, верно, — начинал сдаваться Никонов, — но все-таки... не по моим силам эта роль. Давайте договоримся: если никого более подходящего не подберем, то, так и быть, выступлю я. Хотя, честно признаться, от одной мысли, что мне придется это делать, я чувствую большое смущение и неловкость. Мне трудно даже совершенно отвлеченно представить себя в этой роли.

— Во всякую роль, говорят, надо вживаться, — с улыбкой заметил Саша, — и вам отныне, значит, предстоит этот нелегкий труд.

7

Один знакомый студент Ульянова получил письмо с юга, в котором сообщалось об арестах военных в Киеве и где-то на Дону. Александр Ильич знал, что Никонов был связан с кружками военных. Вечером помчался к Никонову, чтобы предупредить его об арестах среди офицеров.

— Вам нужно немедленно переходить на нелегальное положение! — настоятельно советовал он Никонову.

— Я тоже мельком слышал, что на юге начались аресты, но никаких достоверных сведений не имею. Слежка за мной идет с начала учебного года, но я не заметил, чтобы она усилилась за последнее время. Кстати, за вами наверняка увяжется шпик, так что будьте осмотрительны. Давайте сопоставим даты арестов и письма. Видите, аресты произошли более месяца тому назад. В случае выдачи меня давно бы уже забрали. Следовательно, такой уж близкой опасности ареста нет. С другой стороны, если я перейду на нелегальное положение, то мне нужно уезжать из Петербурга. А мой отъезд затруднит и без того нелегкую работу.

— Подождем немного, — неохотно согласился Александр Ильич, — но как только увидите, что слежка усиливается, сейчас же переходите на нелегальное положение.

— Хорошо.

— Думаю, уехать вам нужно будет в Вильно. Поживете у друзей Лукашевича, а потом, исходя из обстановки, решим, что дальше делать.

Ровно через два дня после этого разговора Никонов, возвращаясь из анатомического театра домой, где он продолжал работать, заметил в своем переулке целую свору шмыгающих за углами шпионов. Было ясно: бежать теперь поздно, так как дом плотно окружен. Около двух часов ночи в квартиру позвонили. Никонов понял, кто это пожаловал в гости, еще раз сказал жене:

— Зря я не последовал совету Ульянова.

— Мне открыть?

— Нет, я сам. И если меня возьмут, а тебя оставят, немедленно предупреди о моем аресте.

— А может, обойдется? В квартире ничего нет.

— Посмотрим. Кто там? — подойдя к двери, спросил Никонов.

— Вам телеграмма, — послышался традиционный полицейский ответ.

— Одну минуту, я сейчас оденусь, — ответил Никонов и, вернувшись в комнату, продолжал, подсев к жене: — Они. Неужели открыт наш заговор? Ведь если бы юнкера предали меня, то я давно был бы арестован. Значит, так: немедленно узнай, кто еще взят, и во что бы то ни стало сообщи мне.

Обыск ничего не дал полиции, но Никонова всетаки арестовали.

Жену Никонова (А. В. Москопуло) не забрали. Отпустив свиту, жандармский офицер сел с Никоновым в одни санки. Когда отъехали подальше от дома, он спросил:

— А знаете ли вы, по какому делу арестованы?

— Нет, не знаю.

Офицер выдержал паузу и, покосившись на извозчика, сказал, понизив голос до шепота:

— Дело очень серьезное: военная революционная организация.

— Это точно?

— Абсолютно.

— Благодарю вас.

— Очень рад, что смог быть вам полезным. Я Михайлов, бывший офицер брестского полка. Наш полк, как вы, может, помните, постоянно стоял в Севастополе. Я знаю вашего отца. Изумительный человек! И сестры у вас чудесные...

Душевные излияния жандарма окончательно убедили Никонова, что тот сказал правду, и от сердца у него отлегло: значит, заговор не раскрыт. Его арестовали по другому делу. Но как теперь его арест скажется на работе группы? Полиция начнет прощупывать все нити его знакомств. Ведь как редко он ни встречался, например, с тем же Александром

Ильичем, но полиция слишком пристально следила за ним, чтобы не заметить этого знакомства. Потянутся нити и к Лукашевичу. А у того на квартире целый склад динамита. Может возникнуть потом мысль, что он предал их. От этого предположения холодные мурашки побежали у него по спине.

8

Высланные из Петербурга за участие в добролюбовской демонстрации студенты писали друзьям, рассказывали, в каком тяжелом положении они оказались. Многим из них, никогда не испытывавшим трудностей, эта высылка казалась верхом несчастья. Их письма были полны жалоб на дикую несправедливость властей. Жалобы эти тем более близко принимались к сердцу, что все понимали: выслали товарищей не за вину, а ради устрашения других. Репрессиями правительство как бы хотело сказать: смотрите, такая же участь постигнет каждого. А это значит: нужно не только вести себя тихо и смирно, но и за другими смотреть и других одергивать. Такая полицейская логика возмущала студентов, и разговоры о том, что нужно дать ответный бой, то затихали, то вновь вспыхивали.

Восьмого февраля праздновался университетский акт. Студенты решили на этом торжестве устроить демонстрацию. Весть быстро облетела университет и взбудоражила всех. Начались споры о том, какие требования выдвинуть. Одни говорили: потребовать возвращения всех высланных, другие утверждали, что этого мало, что тогда не стоит и дело затевать. Нужно добиваться не только возвращения высланных, но и отмены нового реакционного устава, разрешения собраний...

— Господа, — кричали более умеренные, — да такие требования под силу только революции!

— И что же?

— Да то, что погонимся мы за большим и малого не добьемся.

— Александр Ильич, — крикнул Семен Хлебни-

ков, — что вы скажете? Как, по-вашему, нужно действовать?

Уже в первые дни разговоров о выступлении на торжественном акте Саша понял: делать этого не надо. Все равно ничего добиться нельзя, новые аресты могут погубить подготовку покушения, на которую уже так много затрачено сил.

— Я думаю, — спокойно, как бы взвешивая каждое слово, начал Саша, — эту демонстрацию вообще затевать не следует.

— Как? — воскликнул пораженный Семен Хлебников. — Господа, вы слышите?

— Да, не следует, — выждав, пока уймется шум, еще тверже повторил он. — Этим выступлением мы можем добиться только одного: новых арестов и ссылок. А кому это нужно? Кому от этого польза? Мы не только не выручим своих друзей, а дадим повод властям к новым расправам.

— Значит, так: молчать?

— Я этого не сказал.

— Ну, что же делать?

— Это уже другой разговор, — ответил Александр Ильич уклончиво. — Над этим нужно думать.

Университет был населен шпионами и доносчиками. И как только студенты начали готовиться к протесту в день торжественного акта, об этом тотчас же стало известно полиции. Начальник петербургской охранки доложил о готовящемся выступлении градоначальнику Грессеру, и тот приказал:

— Взять в качестве заложников самых главных подстрекателей! И предупредить всех остальных: устроят беспорядки — заложники немедленно будут удалены из университета. Да к ним присоединим еще многих!

Накануне торжественного акта полиция забрала несколько студентов. Самая активная часть студенчества — друзья Ульянова — была против выступления, и торжественный акт прошел хотя и уныло, но без происшествий. Когда отпущенные заложники по-

явились в студенческой столовой донцов (она была на Петербургской стороне), друзья их встретили с ликованием. Семен Хлебников говорил Александру:

— Зря вы выступали против! Зря! А если бы нас поддержали все студенты, о, полиции туго пришлось бы! Они смерть как боятся массового выступления. Грессер рапортует царю, что в городе тишь да гладь — и вдруг бунт! Да где? На торжественном акте! А сейчас ему царь, поди, еще и орден поднесет. Как же, назревал бунт, и он предотвратил! Нет, что ни говорите, а помогли вы ему на этот раз.

Александр Ильич молчал. Он не мог Хлебникову сказать истинных мотивов своего поведения. Хлебников это молчание принял за признание им того, что он допустил ошибку.

9

— Для меня на твой адрес поступит телеграмма за подписью Петрова, — сказал как-то Александр Ане, — я дал твой адрес потому, что собираюсь переезжать, а телеграмма эта очень важна.

Аня знала: если Саша сам не нашел нужным ничего больше сказать о телеграмме, то спрашивать бесполезно. Он раза два приходил справиться, не получена ли телеграмма.

Прямо допытываться Аня не смела, боясь высказать свое неуважение к секретам Саши, но телеграмма несколько дней держала ее в нервном возбуждении. Она ломала голову: откуда телеграмма? О чем? Почему Саша так ждет ее? И строила догадки: то ей казалось, что в телеграмме этой будет сообщено что-то неприятное для Саши, то, наоборот, очень приятное. Но так как телеграммы все не было, то она успокоилась, а потом и вообще перестала думать о ней.

И вдруг Аню разбудил настойчивый звонок. Насмерть перепуганная хозяйка без стука влетела в ее комнату:

— Вас... Вам телеграмма...

— Из дому? — быстро одеваясь, спрашивала Аня. — Что же там случилось?

— Не знаю... Да только кто же ночью станет поднимать на ноги дом, коль никакого несчастья нет?..

— «Сестра опасно больна», — прочла Аня текст.

— Вот видите, — вздохнула хозяйка, — так и есть: несчастье... Ах, господи, — крестясь и позевывая, продолжала она, — за какие грехи ты только наказываешь нас?

Телеграмма была подписана «Петров». Подана из Вильно, где, как Аня точно знала, у Саши не было ни души знакомой. И текст такой странный. «Сестра опасно больна». Чья сестра? Кто этот Петров?

Эти и сотни других вопросов крутились в голове Ани и не давали ей уснуть. Утром она поднялась рано и побежала в университет, чтобы передать Саше телеграмму. Он долго читал ее с каким-то странным выражением тревоги. Аня спросила:

— Что это значит? Это что-нибудь очень плохое, Саша?

— Нет, — спокойно ответил он, пряча телеграмму в карман, и лицо его вновь стало непроницаемым. Опять между ними стала та невидимая стена, которую она последнее время ощущала. Ей хотелось сгладить то впечатление тревоги, с которым Саша прочел телеграмму, и она сказала с ласковой доверительностью в голосе:

— Я сразу же, с утра, принесла ее к тебе; хорошо я сделала или нет?

— Да, спасибо, — так же коротко и с тем же отчужденным выражением лица ответил Саша.

Аня поняла: он не хочет говорить с нею о телеграмме — и ушла. Ушла в состоянии какой-то внутренней раздвоенности. Умом она понимала, что хорошо сделала, выполнив просьбу брата. По всему видно, телеграмма эта для него очень важна, и, как знать, может, она, принеся ее вовремя, отвела от Саши какую-то беду. А может, наоборот? Может, она принесла известие о непоправимой беде? Ведь Саша вышел к ней спокойный, все еще занятый сво-

ей научной работой, от которой она оторвала его, а взглянул на телеграмму — и настроение его резко сменилось. Да, она принесла неприятное известие. Саше явно грозит какая-то опасность. Не зря же и в телеграмме сказано: «опасно больна». Такими словами о радостях, конечно, не сообщают.

Как Аня ни уговаривала себя, что Саше ничего не грозит, это странное чувство надвигающегося несчастья не покидало ее. Она пришла вскоре к Саше и, застав его дома одного, что в эти дни было редкостью, опять завела разговор о загадочной телеграмме. Саша недовольно нахмурился и, повторив то, что и тогда сказал, умолк. Аня испугалась, что из-за этой назойливости он вообще ничего не будет доверять ей, и не стала больше расспрашивать его. Так она ничего толком и не узнала о телеграмме.

10

Приближение срока покушения создавало все более нервную обстановку, в которой очень трудно было заниматься обычными делами. Почти все забросили лекции и если приходили в университет, то только для виду. А Шевыреву начали мерещиться шпионы и там, где их совсем не было. Он совершенно серьезно начал было уверять товарищей, что за ним все время ходит какая-то собака, которая, по всей вероятности, помогает шпионам проверять каждый его шаг. Нервное возбуждение его было настолько сильно, что чашка кофе действовала на него, как водка. И тем больше удивляло и поражало всех невозмутимое спокойствие Ульянова.

Саше предстояло изготовить где-то нитроглицерин. Лукашевич нашел место, где это можно было проделать безопасно, кинулся искать Ульянова. Весь университет он обежал — нигде нет. И вдруг, заглянув в зоологический кабинет, он глазам своим не поверил: Александр так увлеченно препарировал ставниц (морских тараканов), привезенных ему из Кронштадта, словно то было самое главное дело его жизни.

— Александр Ильич, — с удивлением и немного даже с укоризной сказал Лукашевич, — как вы можете сейчас заниматься всем этим?

— А что случилось? — неохотно отрываясь от занятия, со своим обычным спокойствием спросил Александр.

— Как что? Осталось ведь всего несколько дней...

— И что же?

— Да ведь мы все ставим на карту!

— Знаю.

— М-да... Странный вы человек! — невольно вырвалось у Лукашевича.

— Нет. Я просто очень люблю науку, — с такой проникновенной искренностью сказал Саша, что у Лукашевича сердце дрогнуло.

«Такой талантливый человек, — думал он, слушая рассказ Александра Ильича о его опытах для новой научной работы, — а что ждет его?..»

— Александр Ильич, я договорился с Новорусским: он предоставляет нам свою дачу в Парголове. Там живет мать его невесты фельдшерица Ананьина. У нее есть сын, гимназист. Условились так: вы поедете туда как бы давать уроки этому гимназисту. Ваши занятия химией Новорусский объяснит Ананьиной сам. Он скажет ей, что это вам необходимо для научной работы.

— Значит, Новорусский посвящен в наше дело?

— Да. Он спросил меня, для каких целей нужна дача. Вы сами понимаете, что у меня не было другого выхода. Кстати, когда он узнал, что вы там будете делать, то сказал, что для другого дела он и не дал бы нам свою дачу. Вы ведь его по кружку неплохо знаете.

— Да, я с ним встречался у Никонова.

— Приборы вы заберете, а кислоту... Тут нужно подумать, с кем ее туда переправить. Хорошо бы найти такого человека, за которым наверняка нет слежки.

Лукашевич ушел, а Саша вновь принялся за свою работу. Ему хотелось до отъезда в Парголово выполнить намеченную программу. Он усиленно го-

товил новую научную работу, которую хотел закончить до каникул, а потому и дорожил каждой минутой.

11

Выработка азотной кислоты шла очень медленно. Лукашевич предложил послать кого-нибудь в Вильно к своим друзьям.

— Там дельный народ: у них и деньги есть и паспорта, и кислоты они смогут достать, если захотят.

Нужно было послать такого человека, за которым нет слежки. Решили поручить это дело студенту Буковскому. (Его Лукашевич и Ульянов хорошо знали по экономическому кружку.) Буковский был сыном полицмейстера, участия в революционных делах не принимал и согласился сделать это по дружбе к Никонову. Буковский хорошо выполнил поручение, но привезенной им кислоты все равно не хватило. Виленцы обещали со временем достать еще.

Кислоту вырабатывали Генералов и Андреюшкин. Так как дело шло изнурительно медленно, у них истощилось терпение, и они просили Шевырева послать еще кого-то в Вильно, чтобы ускорить изготовление бомб. Ульянов поддержал их, и Шевырев взялся найти человека для этой поездки.

По кухмистерской Шевыреву помогал Канчер: он ходил за покупками, продавал талоны. Показал он себя человеком сообразительным и расторопным. Шевырев, когда началась подготовка покушения, стал использовать его на всяких посылках: то банки и реторты в аптеке купить, то записку Ульянову снести, то еще что-то. Канчер привык к выполнению всевозможных поручений Шевырева и, когда тот, придя к нему, сказал: «Канчер, мне некогда, так поезжай в Вильно и привези оттуда вещи», — тот даже не спросил, что именно он должен привезти.

— Вот тебе, батюшка, пятьдесят рублей и две записки, два адреса. Один адрес — у Антона взять эти вещи, а найти его так: на Виленской улице, дом Апатова, зайти в трактир и спросить Елену, а у нее

Антона. Другой адрес — ты, батюшка, внимательно слушай! — другой адрес Пилсудского. Ты знаешь его?

— Я встречал его в университете, но лично не знаком.

— Хорошо. Эти два письма передашь ему.

— А дальше что?

— Остальное они тебе, батюшка, расскажут. Твоя задача — делать все, что они будут говорить, и привезти то, что дадут. Ясно? Когда будешь уезжать, дашь вот по этому адресу такого содержания телеграмму, — Шевырев показал написанный на клочке бумаги адрес и текст телеграммы. — Запомнил?

— Да.

— Хорошо, — достал спички, сжег бумажку с адресом. — Ульянов встретит тебя на вокзале. И последнее: куда едешь, зачем — никому ни слова.

Канчер привез кислоту. Ульянов встретил его на вокзале — по той телеграмме, которую принесла Аня, — и забрал чемодан с бутылями. В Вильно Канчер догадался, за чем его послали — ему, кроме кислоты, вручили там револьвер, — и насмерть перепугался. Выглядел он таким замученным и жалким, что Саше неприятно было на него смотреть. Кислота, привезенная им, тоже оказалась негодной: была слишком слабой — и Андреюшкин с Генераловым, чертыхая виленцев, вылили ее в Неву. Ульянов сказал Шевыреву:

— Канчер мне кажется человеком ненадежным.

— Я от него, батюшка, тоже не в восторге, но где же лучше взять?

Вместе с Канчером жил его земляк Горкун, а потом приехал и другой, Волохов. Хотя Шевырев и вел все дела с Канчером секретно, но тот тут же выкладывал все Горкуну. Шевырев, поняв это, начал давать и Горкуну поручения. Так он послал обоих отнести на квартиру Новорусского препараты. Новорусский в это время переезжал на дачу своей тещи

Ананьиной, и ему удобнее было переправить туда вместе с вещами все нужное для изготовления динамита. Ульянов был против привлечения Канчера к делу, считая его человеком легкомысленным и болтливым, но Шевырев продолжал давать ему поручения.

10 февраля Шевырев зашел к Канчеру, вывел в другую комнату, зашептал:

— И родному отцу не говори! Никому не скажешь?

— Нет.

— Мы готовим покушение на царя.

— Но я... — испуганно начал Канчер. — Я... я не разделяю ваших взглядов на террор. Я сроду не принадлежал ни к каким революционным кружкам. Я прошу уволить меня...

— Ваша роль — я имею в виду Горкуна и Волохова — совершенно пассивная. Вы дадите знать, когда будет ехать государь.

Канчеру деваться было некуда: он понял, что давно уже помогает, выполняя поручения Шевырева, готовить покушение. Поездка в Вильно, покупки препаратов в аптеках, передача записок — все это, оказывается, звенья одной и той же цепи, которой он сейчас связан по рукам и ногам. Он понял, что слишком много знал, чтобы можно было отказаться, не рискуя, что тебя не сочтут за шпиона. А этого он боялся пока что больше всего, ибо видел, с каким презрением относятся студенты к доносчикам. Горкун, узнав, о чем был разговор, так растерялся, что весь вечер чесал затылок, бубнил одно и то же:

— Всунув ты мене в пекло...

Канчер, оправдываясь, утешал его:

— Да погоди помирать! Ты же знаешь, как чаще всего бывает у нашего брата студента: поболтают да тем дело и кончится. Шевырев сам мне совсем недавно говорил, что ему нужно уезжать куда-то на юг лечиться. Та кислота, что я привез, не годится. Пока другую достанут... Нет, мертвое это дело!

— За такое дело голову снимут, — продолжал чесать затылок Горкун. — Ну, каша...

12

Как Саша ни скрывал от Ани все свои дела по подготовке покушения, они нет-нет да и пробивались наружу. При всей его внутренней собранности и непостижимой для Ани сдержанности он иногда выдавал себя.

Однажды, придя к Саше, Аня застала у него все того же ненавистного ей Говорухина. Саша был уже одет, сказал, что скоро вернется, и просил ее подождать. В руках у него был завернутый в бумагу какой-то длинный предмет, похожий на ружье. По тому, что Говорухин тоже оставался ждать его, Аня заключила: он знает, куда Саша идет, и знает, что он несет. Аню охватило смутное беспокойство. Куда это Саша пошел в такой поздний час? Что он понес? И не рискует ли он? Саша долго не возвращался, Говорухин, уткнувшись в книжку, сидел молча. Часто курил, нервничал. У Ани истощилось терпение, и она спросила:

— Куда Саша пошел?

— Я не знаю.

— Нет, вы знаете! И вы всегда... вы всегда что-то скрываете от меня. Это нехорошо! Это нечестно!

— Он скоро вернется, — подчеркнуто сухо ответил Говорухин, — и объяснит вам, где был. Мне же он не поручал этого делать.

Ждать Сашу Ане пришлось, как ей показалось, бесконечно долго. Она брала одну книгу за другой, листала их, но ничего читать не могла. В голове ее теснились беспокойные мысли: «Где Саша? Что с ним?» И, казалось, он попал в какую-то беду.

Но вот, наконец, хлопнула дверь, и на пороге комнаты показался Саша. Аня облегченно вздохнула. Ей очень хотелось поговорить с ним, попросить его, чтобы он был осторожнее, но Говорухин не двигался с места, и она, поняв, что его не пересидеть, ушла встревоженная и недовольная.

Вернувшись домой, Аня долго не могла успокоиться. Смутная тревога не давала покоя ей несколько дней.

Потом вдруг сошлись два тревожных события. Чеботарев объявил, что уезжает на другую квартиру, а почему он это делает, объяснил так путано, что Аня не поверила ни одному его слову. Она спросила Сашу, что между ними произошло, но тот тоже ответил очень уклончиво: Чеботареву, дескать, нужно готовиться к отъезду в Сибирь, ему нужна более тихая квартира, чтобы закончить все дела, а тут много народу ходит. После отъезда Чеботарева пустая, похожая на сарай квартира стала еще более неуютной, производила унылое впечатление. Саша сказал, что доживет в ней только месяц и потом переберется в другое место. Аня кинулась искать ему комнату, но ничего подходящего не попадалось. Сам же Саша как-то равнодушно относился к своему переселению. Подошло время платы за квартиру, он внес за месяц вперед, что казалось Ане верхом расточительности, и остался в старой квартире. Не успела Аня освоиться с этой новостью, как нагрянула вторая. Пришел к ней Марк Елизаров и сообщил об аресте Сергея Никонова.

— Ох! — вырвалось у Ани. — Я так боюсь за Сашу.

— Да, ему давно уже вечную память поют, — сказал Елизаров и, увидев, какое сильное впечатление произвела эта его фраза на Аню, добавил, явно желая смягчить сказанное: — Да кому ее сейчас не поют?

Арест Никонова Саша очень тяжело переживал. Однако это ни на один день не выбило его из рабочей колеи: он по-прежнему рано уходил в зоологический кабинет университета и продолжал занятия. У Ани опять полегчало на душе: аресты миновали, не коснувшись брата, он упорно работает, значит все ее волнения напрасны.

Аня получила из дому письмо и пошла показать его Саше. Ее встретила хозяйка квартиры, сообщила:

— А брата вашего нет.

— Я обожду его.

— Боюсь, что не дождетесь: он уже вторую ночь не появляется дома.

— Как?! — испугалась Аня. — Где же он?

— Не знаю...

— Я тогда посмотрю, может, он записку мне оставил.

Никакой записки Аня в комнатах не нашла. Это так встревожило ее, что она не знала, что и думать. Никогда еще не было такого случая, чтобы Саша не ночевал дома. Но если он куда-то и уехал, то почему не сказал ей? И куда он мог уехать? Какие у него могут быть дела? Он ведь никогда ничего не говорил об этом. А может, он уехал в Вильно по той загадочной телеграмме? Странно, очень странно. «А что, если его арестовали?» — вдруг пришла Ане страшная мысль. Да, но тогда бы пришли с обыском на квартиру. А может, полиция и приходила, да хозяйка не говорит об этом.

Много всевозможных предположений перебрала Аня и ни на одном не могла остановиться. Она не спала всю ночь и утром чуть свет побежала опять на квартиру Саши. Ответ тот же: нет, не появлялся. Тогда Аня помчалась к Говорухину. Там она застала Шевырева. Оба они были тоже заметно встревожены. Шевырев, косо поглядывая на нее из-под очков, точно Аня была во всем виновата, бегал из угла в угол по комнате. Говорухин силился сохранить свою обычную мрачную невозмутимость, но у него это плохо получалось. На вопрос Ани, куда же уехал Саша, он хмуро ответил, что недалеко и скоро вернется.

— Плохо, что он вас не предупредил, — заключил Говорухин и, помолчав, продолжал раздраженно: — Но и вам тоже не следует так часто ходить на квартиру за справками, а то там... бог знает что могут подумать.

— Но зачем же он поехал? — тоже повысив тон, спросила Аня. — Вы хоть это мне можете сказать?

— У него есть дела, — переглянувшись с Шевыревым, уклончиво ответил Говорухин.

— Какие? Я это спрашиваю не ради любопытства. Я просто хочу знать, рискует он чем-нибудь или нет.

— Ну, если вы уже так настаиваете... Пожалуйста. Он поехал гектографировать одну вещь. Это недалеко от Петербурга и совершенно безопасно.

— И он скоро приедет, — быстро вставил все время молчавший Шевырев. — Может, даже сегодня.

Говорухин и Шевырев не только не успокоили Аню, а еще больше растревожили ее. По их тону и растерянному виду она поняла, что они что-то скрывают от нее. Но если они даже и правду говорят, то гектографированье — довольно рискованная вещь, где бы это ни делалось, в Петербурге или в другом месте. Уходила она от них, не скрывая своего враждебного отношения, взяв слово, что они немедленно дадут знать, как только Саша вернется.

Только на четвертый день Аня, вернувшись с лекций домой, нашла в своей комнате маленькую записку Саши, в которой он извещал, что вечером зайдет. Когда он появился, Аня с упреками накинулась на него. Он, как всегда, спокойно выслушал ее, признался, что сделал ошибку, не предупредив об отъезде, пообещал, что впредь не допустит этого.

— Ты представить себе не можешь, как я волновалась. Это же очень рискованное дело...

— Ты о чем? — заметно насторожился Саша.

— Ты ведь печатал что-то?

— Нет.

— А Говорухин сказал, что ты печатал.

Саша нахмурился и ничего не ответил. Аня знала: если он не хотел о чем-то говорить, то молчал, но не лгал. И последнее время она все чаще, точно на скалу, наталкивалась на его упорное молчание. Она видела в этом недоверие, обижалась на него. Не зная истинной причины его непоколебимой замкнутости, она объясняла ее тем, что Саша переменился к ней.

— Ты не любишь и не уважаешь меня! — со слезами воскликнула она.

— Ты очень хорошо знаешь, что я тебя и люблю и уважаю, — сказал Саша твердо и так искренне, что Аня устыдилась своих слов.

13

Когда прошел период разговоров и нужно было приступить вплотную к делу, а значит, и многим рисковать, Говорухин одним из первых начал высказывать недовольства и сомнения. А после того как он узнал, что Шевырев страшно преувеличил силы и средства группы, он открыто стал говорить, что не доверяет ему. Это, в свою очередь, вызвало и со стороны Шевырева настороженность. Шевырев и раньше недолюбливал Говорухина за пристрастие к красному словцу, а после того как увидел, что он все упорнее увиливает от поручений, и совсем разуверился в нем. Но людей было мало, и Шевырева обстоятельства дела вынуждали обращаться к нему за помощью.

Как-то ночью Шевырев зашел к Говорухину, сказал тоном, не допускающим возражений:

— Эту банку с динамитом я оставлю у тебя. До утра.

— Почему?

— Мне сейчас некуда ее деть.

— Но я же с минуты на минуту жду обыска. Знаешь ты это?

— Знаю. И понимаю: это риск. Но, батюшка, да будет вам известно, что нынешнюю ночь рискуют три квартиры.

— Хорошо! Оставьте! Но я вам скажу все начистоту. Я не верю, что покушение удастся.

— Ах, вот что, — замигал глазами Шевырев и, сняв очки, принялся протирать их, что он всегда делал, когда его озадачивали.

— Да, не верю! И в этом нет ничего удивительного. Работы у вас идут из рук вон плохо. Всюду масса почти непреодолимых препятствий. Удивительная неумелость во всех делах, что грозит страшными провалами. Систематический террор при данных силах явно неисполним, не говоря уже о том, что я не уве-

рен, насколько верны ваши сведения. Отсюда логический вывод: пропадает масса сил непроизводительно. Далеко не уверен я и в том, что вам по силам все это предприятие.

— Так. Еще что? — спросил Шевырев, надев очки и строго, в упор глядя на Говорухина таким пронзительным взглядом, что тот невольно опустил глаза.

— Этого вполне достаточно... — с трудом выдавил улыбку Говорухин.

— Да, этого вполне достаточно, чтобы заключить: струсил парень! Вот уж честно признаюсь: не ожидал от вас этого, батюшка.

— Петр Яковлевич, — возмущенно начал Говорухин, — я попрошу вас...

— Сказать, что вы храбрый человек? Извольте! Я оставляю у вас эту банку с динамитом, а утром зайду за нею. Спокойной ночи! Да, батюшка, — уже в дверях сказал он, — послушайтесь моего совета: не смотрите так мрачно на все дело. Оно — вы скоро убедитесь в этом — поставлено лучше, чем вам кажется. Если полиция нагрянет с обыском, можете сказать, что эту банку я оставил без вашего на то разрешения. До завтра!

Говорухин никак не ожидал такого оборота дела. Он был уверен, что Шевырев, услышав о том, что он не верит в дело, немедленно заберет динамит и больше не появится. Велико же было его удивление, когда Шевырев следующей ночью опять появился. Он сказал, что оставляет банку до следующего утра, и, не дав опомниться Говорухину, скрылся. Тот всю ночь не спал и чувствовал себя так, словно сидел на пороховой бочке и смотрел на ползущий к ней огонек. Разглагольствовать о динамите и хранить его — это, оказывается, не одно и то же.

Раиса Шмидова жила в одной квартире с Говорухиным, и он, выпроводив Шевырева, принялся высказывать ей свое недовольство.

— Таких нахалов, — возмущенно говорил он, — я еще не видел. Знает, что за каждым моим шагом следит полиция, и все-таки принес ко мне такую

вещь... И вообще неприятный он человек! Самый вид его производит нерасполагающее впечатление. Ты заметила, какой у него упорный, дерзкий и несимпатичный взгляд? А эта манера говорить крикливым голосом производит просто отталкивающее впечатление.

— Вы что, поссорились?

— Пока нет. Но к этому, видимо, идет.

— Тогда все ясно, — улыбнулась Шмидова. — А то я думаю, что случилось? Ведь ты недавно был совсем другого мнения о нем. Ты говорил мне, что Шевырев очень оригинальный. Ты восхищался тем, что он, взявшись за какое-нибудь дело, не отступал ни перед какими трудностями, пока не доводил его до конца. Тебя приводило в восторг то, что он, увлекшись чем-то, не только ночи напролет не спал, но даже забывал поесть.

— Я и сейчас не отрицаю: энергии у него хоть отбавляй. А совести и порядочности... Ну, посуди сама, мог бы, например, Ульянов так поступить, как он? Да никогда в жизни! Он быстрее сам примет удар, направленный на товарища, чем станет прятаться за спину других.

Вскоре повторилась та же история: неугомонный Шевырев вновь поднял Говорухина в два часа ночи с постели и вручил ему склянку с гремучей ртутью.

— Что там? — спросил Говорухин, когда Шевырев поставив сверток под его кровать, поспешно направился к двери.

— Пустяк...

— Нет, все-таки. Я должен по крайней мере хотя бы знать, чем вы меня на этот раз осчастливили.

— Успокойтесь, батюшка, — беззаботно продолжал Шевырев, — там всего-навсего гремучая ртуть.

— Что?!

— Один только вам совет: не вздумайте выбросить в окно — взорвется. Ну, батюшка, я побежал. Мне сегодня не придется, видимо, спать.

— Петр Яковлевич, одну минуту...

— Завтра, завтра потолкуем, — кинул тот через плечо, скрываясь за дверью.

14

Завесив окно, Александр мастерил футляр для бомбы. На хозяйской половине часы пробили два. У него глаза слипались ото сна, но он не ложился: нужно было к утру во что бы то ни стало закончить. Когда сон очень уж одолевал, он умывался холодной водой и, пошагав по комнате, принимался за работу. Он каждый день ждал обыска и старался ничего опасного не держать дома. Однако возможности соблюдать абсолютную конспирацию были настолько ограничены, что в квартире всегда находилось что-то заставляющее опасаться.

Вдруг послышался стук в дверь. Смахнув со стола картон, бумагу, клей, Александр сунул все это вместе с футляром в корзину для бумаг и разложил книги так, точно он занимался. Стук повторился. Боясь, чтобы не всполошились хозяева, он вышел в коридор, подавляя волнение, спокойно спросил:

— Кто?

— Открой, Александр Ильич.

— Орест Макарыч?

— Я. И всего на минуту, — продолжал Говорухин, переступая порог.

— Что-то случилось?

— Пока нет. Но если Шевырев будет себя и дальше так вести, то он наверняка погубит всех.

Преувеличивая опасность своего положения, Говорухин принялся жаловаться на Шевырева. Александр слушал его и вспомнил, с каким жаром Говорухин агитировал его взяться за подготовку покушения, как он издевался над теми, кто раздумывал, стоит ли примыкать к террористической группе. Значит, пока шли только разговоры, он был смелее всех, а сейчас... А сейчас вот он, изо всех сил стараясь скрыть, что струсил, говорит:

— Я с самого начала сказал: не могу принимать активного участия в подготовке. И не потому, что боюсь, а потому, что полиция следит за каждым моим шагом. Своим участием в деле я могу только завалить его. Ты согласился с этим? Согласился. Ше-

вырев знает это? Знает. Зачем же он устраивает такие опасные фокусы? Чтобы испытать терпение мое? Но ведь он может погубить все дело!

— Хорошо. Я поговорю с ним. А тебе, Орест Макарыч, — с какой-то необычайной ноткой властности в голосе продолжал Александр Ильич, — на мой взгляд, лучше всего уехать за границу.

— Я тоже об этом думал, — обрадовался Говорухин. — Да, да, ты прав: мне нужно немедленно скрыться. Только как это лучше сделать?

— Подумаем.

На второй же день Александр разыскал в университете Шевырева. Уединившись с ним в лаборатории, он спросил:

— Что у вас произошло с Говорухиным?

— Трус он, батюшка! — спокойно сообщил тот.

— Положим. Зачем же в таком случае вам понадобилось прибегать к его услугам? А если бы действительно полиция налетела с обыском?

— И что же? Я ведь только говорил, что оставляю динамит, а в банке был обыкновенный песок. Он, наверное, говорил, что я оставил у него гремучую ртуть? Я так и знал! — расхохотался Шевырев. — Это просто цирк! Значит, он настолько испугался, что даже побоялся банку развернуть.

— Знаете, Петр Яковлевич, я вас иногда... просто не понимаю. Если человек потерял веру в дело и говорит об этом прямо, то как же можно называть его трусом? Мы, как вы помните, не раз спорили с вами о том, кого можно привлекать в группу. Я всегда стоял и сейчас стою на том же: никого силой тянуть нельзя. Принимая участие в покушении, человек слишком многое ставит на карту, чтобы он мог со всей душой отдаться этому под умственным и нравственным давлением других.

— А я этого не понимал и не понимаю! — стоял на своем Шевырев. — Если мы будем руководствоваться твоими соображениями, то у нас ничего не выйдет. Террористов так мало, что нужно пользоваться каждым случаем. Радоваться каждому желающему идти на это дело. А рассуждать, можем мы или не

можем кого-то привлечь к делу, роскошь. Более того, это безнравственно, потому что вредит делу, расшатывает его.

— Не могу с этим согласиться! — продолжал стоять на своем Александр Ильич. — Наоборот, привлечение неопределившихся людей, а равно и колеблющихся расшатает, дезорганизует нашу группу. Я не говорю уже о том, что среди таких именно людей и попадаются те, кто потом, как Рысаков, предает всех! Ведь если бы Рысаков не выдал Перовскую, Кибальчича, Михайлова, разве Исполнительный Комитет прекратил бы борьбу? Нет! Он бы собрался с силами и подготовил новый, еще более грозный удар по самодержавию! Нет, увольте: по мне пусть будет меньше людей, но зато таких, на которых можно положиться, как на себя. И если, положим, тот же Говорухин решил отойти от дела, пусть отходит. С таким настроением от него будет больше вреда, чем пользы.

— А если все поступят так, как он?

— Это докажет только то, что условия для нашего дела еще не созрели.

— Чепуха! Условия не только созрели, а уже перезрели! Болтовня всем надоела до одурения. Взрыв нашей бомбы будет сигналом к борьбе. Нам нужно меньше рассуждать, а больше действовать! Мне, например, абсолютно все равно, от имени кого мы будем выступать: от Исполнительного Комитета или от новых народовольцев. Главное — достичь поставленной цели. А то мудрим, выдумываем... Да если уж на то пошло, так выступим от имени Исполнительного Комитета! Это еще больше нагонит страху на правительство. И народ воспрянет духом, узнав, что Исполнительный Комитет не погиб.

— Мы не можем вводить в заблуждение ни правительство, ни публику, ни революционеров. Обмануть кого-либо в этом отношении трудно, а попасть в смешное положение легко. На это я не пойду.

— Ну, как угодно. Я в теорию не вникал и вникать не буду. Мое дело — практическая сторона.



ГЛАВА ВОСЬМАЯ

1

В то время когда Саша был так занят подготовкой покушения, что от сна урывал время для занятий, ему предложили перевести для одного сборника статью Карла Маркса о гегелевской философии. Саша взялся за эту работу вместе с Говорухиным. Однако Говорухин оказался плохим помощником: в это время у него голова была занята тем, как быстрее уехать за границу, он ныл больше обычного и проводил время в праздной болтовне. Он пускался в откровения с лицами совсем непосвященными в дело. Когда в одной из французских газет появилось сообщение о том,

что покушение готовится на первое марта, он, показывая заметку Чеботареву, спрашивал:

— Может ли это быть, как вы думаете, Иван Николаевич?

— Как знать, — отвечал тот уклончиво.

— А мне кажется, это вполне реально. За шесть лет могли собраться силы, способные подготовить покушение. Почему оно приурочивается к первому марта, тоже ясно: этим будет как бы перекинут мост от одного исторического события к другому. Удобно это еще и потому, что царь первого марта обязательно поедет в собор Петропавловской крепости поклониться праху родителя своего.

— Возможно...

— Да, да, именно так и будет! — все больше входя в азарт, продолжал развивать свою мысль Говорухин. — Вспомните тогда мое слово!

— Ну, что ж, поживем — увидим...

— Да, перед каждой бурей бывает затишье. И сейчас...

В комнату вошел вернувшийся из университета Александр Ильич, и Говорухин смущенно замолчал. Александр, заметив, что он опять лишнее болтал, хмуро спросил:

— Я помешал?

— Нет-нет, — возразил Говорухин, — мы здесь спорили по поводу этой заметки. Ты уже читал ее? Ну, что скажешь?

Саша, не желая говорить на эту тему, не ответил, и Говорухин с фальшивым смешком продолжал:

— Пророки! И откуда только они все это берут?

— Делать им там, за границей, нечего, — глухо сказал Саша, — вот и болтают...

На слове «болтают» он сделал ударение, и так недвусмысленно взглянул при этом на Говорухина, что тот опустил глаза. После неловкого молчания Саша спросил:

— Перевод принес?

— Нет еще. Туго что-то у меня идет.

— Почему? Ты же лучше меня немецким владеешь!

— Путаная статья...

— С этим я не могу согласиться: статья очень глубокая и написана, как и все работы Маркса, с железной логикой. — Саша помолчал, продолжал: — Я просил бы тебя ускорить перевод. Мне очень не хочется оказаться в положении человека, не сдержавшего слова. Тем более что я этому делу придаю особое значение.

Еще несколько раз пришлось Саше напомнить Говорухину, прежде чем он отдал ему свою часть перевода. Сделал он это так небрежно, что Саше стыдно было относить статью составителям сборника. Сроки тоже истекали, и он решил прибегнуть к помощи Ани. Он рассказал ей, как было дело, и попросил отредактировать перевод Говорухина да и ту часть статьи, над которой работал сам.

— Ты лучше, чем я, владеешь словом. Ты ведь и сама пишешь! И, как я уже говорил, у тебя получается довольно неплохо. Я до сих пор очень живо помню твой рассказ о девочке. И стихотворение «Волга» у тебя вышло хорошее...

— Полно тебе! — зарделась от похвалы Аня.

— Я повторяю только то, что уже говорил.

— Да я и не отказываюсь. Я только боюсь, что не справлюсь...

— Справишься!

— Хорошо. Я попробую.

— Только, пожалуйста, сделай это не позже двадцатого.

— Постараюсь.

Аня трудилась честно, но закончила работу только 24 февраля. В тот же день Саша отнес статью составителю сборника.

2

Поготовка покушения забирала у Александра Ильича много сил. Но его тяга к пропаганде революционных идей среди рабочих была так велика, что он выкраивал время и для нее. Именно этой осенью Саша вместе со своими друзьями по «Союзу землячеств», приступил к организации рабочих кружков

в Галерной гавани на Васильевском острове. На эти кружки он смотрел как на школу классового воспитания пролетариата.

Занятия велись нелегально. Кружки приходилось разбивать на маленькие группки: так было легче соблюдать конспирацию. Участники кружков не знали фамилий своих руководителей, что делалось из опасения нарваться на провокатора. Александр Ильич назывался «Ильичем», «Иннокентием Васильевичем» и другими кличками. Этой своей работе он придавал громадное значение и благодаря максимуму проявленной им энергии в короткий срок достиг больших результатов. Он составил примерную программу занятий, передал ее своему земляку Драницыну и другим товарищам, привлеченным им к занятиям с рабочими. Так, по сути дела, Александр Ильич создал целую группу пропагандистов, в которую входили М. Драницын, А. Милеев и ряд других его товарищей.

Занятия с рабочими Александру Ильичу очень нравились. К нему, в свою очередь, рабочие тоже относились с большим уважением, так как он мог о самых сложных и запутанных вещах говорить просто и ясно. Он читал рабочим произведения Маркса и Энгельса, рассказывал о том, как пролетариат других стран борется за свои права. Рабочие говорили, что нужно покончить с полицейским произволом. Больше всего рабочих возмущало то, что каждый городовой, как говорили они, имеет право бить их по морде и тащить в участок. Они политический гнет чувствовали, как заметил Саша, значительно сильнее, чем экономический. Правительство и полицию они считали большими своими врагами, чем хозяев. Сделал Саша и еще одно открытие: основная масса рабочих отрицательно относилась к террору, хотя среди них и были ярые сторонники его.

Систематические занятия по строгой программе было очень трудно наладить, как Саша ни старался это сделать. Нередко случалось, в комнату заваливался подвыпивший приятель какого-нибудь кружковца, удивлялся: «Что это вы, братцы, такие скучные сидите? Одним чайком пробавляетесь? Не послать ли

в трактир за водкой, а?» Выпроводить гостя, ие вызвав иикаких подозреиий, было нелегко, и часто в таких случаях приходилось прекращать заиятия.

Рабочие рассказывали о порядках иа своих заводах. Просили совета: как им поступать? Говорили они о длинном рабочем дие, о малых заработках, о штрафах, отнимавших у иих последиие гроши. После таких встреч с рабочими Саша, вериувшись домой, долго не мог успокоиться. Он вновь и виовь передумывал мучивший его вопрос: какой же путь борьбы правильный? Пропагаида среди рабочих марксистского учеиия, в котором так научно обосиованно излагается теория классовой борьбы, так убедительно доказаиа иеизбежность гибели капитализма, или же подготовка террористических актов? Или иужно делать и то и другое?

8

В департамеите полиции был так иазываемый «черный кабииет». Ни одно письмо «подозрительиого» не выходило из Петербурга, ие побывав прежде в грязных руках чиновников этого учреждеиия чужих тайн. Отобраииые конверты просматривались иа свет, вскрывались, и коль в письме усматривалось что-то предосудительиое, с него тут же снималась копия, производились на квартирах адресатов обыски, а иередко и аресты.

20 января 1887 года в руки чииовника «черного кабииета» попало письмо без обратного адреса и с неразборчивой подписью, отправляемое студенту Харьковского университета Иваиу Платоновичу Никитииу. В письме были такие строки: «...Возможиа ли у нас социал-демократия, как в Германии? Я думаю, что невозможна; что возможно — это самый беспощадный террор, и я твердо верю, что он будет и даже не в продолжительном будущем; верю, что теперешнее затишье — затишье перед бурею. Исчислять достоинства и преимущества красного террора не буду, ибо не кончу до скончания века, так как ои мой конек, а отсюда, вероятно, выходит и моя иеиависть к социал-демократам.

10-го числа из Екатеринодара получена телеграмма, из коей видно, что там кого-то взяли на казенное содержание, но кого, — неизвестно, и это нас довольно сильно беспокоит, т. е. меня, ибо я вел деятельную переписку с Екатеринодаром и потому беспокоюсь за моего адресата, ибо если он тово, то и меня могут тоже тово, а это нежелательно, ибо поволоку за собой много народа очень дельного.

P. S. Спроси у Б., что он сделал с теми деньгами, которые он собирал для «бедного...» по листику, полученному им от меня в Екатеринодаре».

Восемь дней чиновники департамента полиции ломали головы, силясь установить петербургский адрес автора письма, но так и не смогли ничего сделать. 28 января в Харьков направили запрос: выяснить — и как можно быстрее! — личность студента Никитина и его адресата.

Шли дни, недели, а из Харькова ни слова. Департамент полиции шлет новый запрос, требуя ускорить ответ.

4

С первых же дней создания группы Александр Ильич начал думать о программе. Он часто спорил с товарищами о том, под каким флагом нужно выступать. Споры эти носили довольно противоречивый характер, ибо единства взглядов по теоретическим вопросам участников группы не было, хотя все они и признавали тактику народовольцев — систематический террор — правильной. В это время не только Александр Ильич был под влиянием идей марксизма, но их разделяли и другие участники заговора: Говорухин, Лукашевич, Генералов и Осипанов. Лукашевич читал Маркса и Энгельса. Он говорил Саше, что путь к исканию истины могут указать революционерам только труды Маркса и Энгельса. Генералов проштудировал работу Г. В. Плеханова «Наши разногласия», и у него появилось желание обстоятельнее познакомиться с трудами Маркса. Саша достал ему нужные книги, и он просиживал за ними ночи напролет. Говорил восхищенно, что ничего ин-

тереснее и умнее не читал в своей жизни, ругал народников, называя их путаниками. Прочитав 1-й и 2-й тома «Капитала», он согласился, что капитализм в России исторически неизбежен.

В это время в Петербурге вела очень деятельную пропаганду идей марксизма социал-демократическая группа Дмитрия Благоева, с которой был связан Орест Говорухин, братья Хлебниковы и другие студенты Петербургского университета.

Благоевцы выступили со своей программой, в которую было включено много положений из программы группы «Освобождение труда», выработанной в 1884 году. В своей программе петербургские социал-демократы отмечали, что «русское государство с отменой крепостного права вступило на тот же путь экономической конкуренции, что и Западная Европа. Капитализм у нас уже зародился и растет».

В программе благоевцев указывалось: «Относительно политического террора как системы вынуждения уступок у правительства мы должны сказать, что при настоящих условиях, при отсутствии прочной рабочей организации, могущей непосредственно поддержать эффект террористического факта, мы не признаем продуктивности террора». Однако, отрицая террор как систему, благоевцы находили возможным пользоваться им в некоторых исключительных случаях.

Александр Ильич очень внимательно изучал и программу группы «Освобождение труда», в которой Плеханов, делая уступку народничеству, имевшему в то время сильное влияние на молодежь, отмечал, что в боях с правительством рабочие могут прибегать и к «террористическим действиям, если это окажется нужным в интересах борьбы».

В середине февраля на квартире у Александра Ильича собрались Лукашевич, Говорухин и студент Сосновский — участник экономического кружка, помогавший группе в кое-каких мелких делах. Обстоятельно обсудили еще раз основные положения программы, намеченные Ульяновым.

У Александра Ильича была изумительная память: он свои тезисы мог по нескольку раз повторять, не

изменяя ни слова, точно по записке. И когда все было обговорено, он вышел в другую комнату и, буквально не отрывая пера от бумаги, написал за каких-то полчаса весь текст программы.

«По основным своим убеждениям мы — социалисты», — вернувшись, начал читать Александр Ильич. — «И народники», как это было в программе Исполнительного Комитета, я опускаю.

— Правильно! — одобрил Лукашевич. — Читай дальше.

— «Мы убеждены, что материальное благосостояние личности и ее полное всестороннее развитие возможны лишь при таком социальном строе, где общественная организация труда дает возможность рабочему пользоваться всем своим продуктом и где экономическая независимость личности обеспечивает ее свободу во всех отношениях...»

Пункт за пунктом читал Саша, и товарищи все больше удивлялись: неужели это все он написал за то время, пока они пили чай? Программа, как и хотели все, была действительно попыткой объединения народовольцев и социал-демократов. Саша, отвергая неясные, расплывчатые формулировки программы Исполнительного Комитета о «санкции народной воли в общественных формах жизни», писал: «К социалистическому строю каждая страна приходит неизбежно, естественным ходом своего экономического развития, он является таким же необходимым результатом капиталистического производства и порождаемого им отношения классов, насколько неизбежно развитие капитализма, раз страна вступила на путь денежного хозяйства».

Однако наряду с этим марксистским положением Александр Ильич допускает возможность «более прямого перехода к социалистической организации народного хозяйства», соглашаясь тем самым с народниками в том, что Россия может перейти к социализму, минуя капитализм.

На первый план в программе, повторяя ошибку народников, выдвигается крестьянство, как наиболее значительная общественная группа. «Оно сильно, —

утверждает Александр Ильич, — не только своей численностью, но и сравнительной определенностью своих общественных идеалов... Крестьянство еще прочно держится общинного владения землей, а его несомненная привычка к коллективному труду дает возможность надеяться на непосредственный переход крестьянского хозяйства в форму, близкую к социалистической».

Но несмотря на то, что Александр Ильич отдавал дань еще очень живым традициям народников с их верой в то, что крестьянская община является зародышем социализма, он утверждает и марксистское положение о роли рабочего класса в предстоящей социальной революции. Он пишет, что рабочий класс по своему экономическому положению является естественным носителем социалистических идей. «Рабочий класс будет иметь решающее влияние не только на изменение общественного строя, борясь за свои экономические нужды, но и в политической борьбе настоящего он может оказывать самую серьезную поддержку, являясь наиболее способной к политической сознательности общественной группой. Он должен поэтому составить ядро социалистической партии, ее наиболее деятельную часть, и пропаганде в его среде и его организации должны быть посвящены главные силы партии».

Получалось: хотя Александр Ильич ставил в программе на первое место крестьянство, но роль рабочему классу в предстоящей революционной борьбе он отводил более значительную. В этом он, по сравнению с программой Исполнительного Комитета, сделал очень большой шаг вперед.

Как окончательные требования, необходимые для «обеспечения политической и экономической независимости народа и его свободного развития», Александр Ильич выдвигал следующие:

«1. Постоянное народное представительство, выбранное свободно, прямой и всеобщей подачей голосов, без различия пола, вероисповедания и национальности и имеющее полную власть во всех вопросах общественной жизни.

2. Широкое местное самоуправление, обеспеченное выборностью всех должностей.

3. Самостоятельность мира, как экономической и административной единицы.

4. Полная свобода совести, слова, печати, сходок, ассоциаций и передвижений.

5. Национализация земли.

6. Национализация фабрик, заводов и всех вообще орудий производства.

7. Замена постоянной армии земским ополчением.

8. Даровое начальное обучение».

Требования эти были сформулированы Александром Ильичем с учетом программы Исполнительного Комитета, группы «Освобождение труда» и группы Благоева. Влияние марксистских идей на его программу очевидно. Александр Ильич и сам отмечает: «Что касается до социал-демократов, то наши разногласия с ними кажутся нам очень несущественными и лишь теоретическими... На практике же, действуя во имя одних и тех же идеалов, одними и теми же средствами, мы убеждены, что всегда будем оставаться их ближайшими товарищами».

Состояние здоровья Шевырева настолько ухудшилось, что врачи в один голос требовали, чтобы он немедленно уезжал на юг. Ульянов, видя, как он похудел, как он надрывно кашляет, тоже настоятельно советовал уезжать. Но Шевырев не хотел этого делать до тех пор, пока вся подготовка к покушению не закончена. Наконец его упорное нежелание уезжать без всякой на то видимой причины начало казаться старшему брату и сестрам, жившим в Петербурге, подозрительным. Болезнь и нервное перенапряжение измотали силы Шевырева. Но когда Ульянов сказал, что ему лучше уехать, он возразил:

— За две недели я не умру! А то уеду, а вы еще вздумаете отложить дело до осени. Нет. Лучше я, батюшка, ноги протяну...

— Есть еще одно обстоятельство, о котором я не хотел тебе говорить...

— А именно? — насторожился Шевырев. — Именно?

— Твой отказ уезжать без веской причины может быть опасно истолкован.

— Кем? Кем это?

— В первую очередь твоим братом и сестрами. Это попадет в уши дворнику и от него — в охранку. Я даже не уверен, что это уже не сделано. Ты ведь сам говоришь, что за тобой значительно усилилась слежка. И получится: на ход событий ты уже особого влияния не окажешь, ибо все дело довольно хорошо поставлено, а охранка насторожится...

После долгих споров Шевырев сдался:

— Да, ты прав, мне нужно уезжать. Но я это сделаю только при одном непременном условии: ты дашь слово, что дело ни под каким видом не будет отложено до осени!

— Я обещаю.

5

В двадцатых числах февраля состоялась вечеринка. На ней были Канчер, Горкун и член экономического кружка Иванов. Было, как и водится, изрядно выпито, много произнесено речей. Канчер говорил громче всех и больше всех. Горкун вторил ему.

— Господа, прошу особого внимания! — кричал Канчер, проливая вино из рюмки. — Предлагаю тост! Господа! Мы пили за тех, кто сложил головы за народ! Так давайте же выпьем за тех, — он сделал паузу, выразительно переглянулся с Горкуном, — кто поднял их боевое, обагренное кровью знамя! За тех, кто, не щадя жизни своей, идет в бой! Кто решил погибнуть за народ!

— А что, — кинулся Иванов к Канчеру с расспросами, — какое-то дело готовится? Серьезное? Большое? Я так и предчувствовал! Ведь идея центрального террора прямо в воздухе носится! Здорово! Это потрясет всю Россию!

— Постой, — вяло возражал Канчер, открыто рисуясь, — я ничего не сказал.

— Как?! Ты берешь свои слова обратно? Господа!

— Да помолчи ты! — упрашивал Канчер расшумевшегося Иванова.

— Значит, готовится дело? Господа, дело готовится! Я это предвидел! Я это предчувствовал! Да здравствует «Народная воля»! Ура! Я предлагаю тост за новых героев!

Все кинулись чокаться с Канчером и Горкуном. Приятели с ложной скромностью принимали восторги пьяной компании, но еще более открыто в речах своих говорили о подготовке покушения. Иванов был человеком любопытным, назойливым и страшно болтливым. За это Ульянов не любил его и ни в какие разговоры с ним не вступал.

— От этого болтуна, — говорил он, — нужно держаться подальше.

На второй же день после пирушки член экономического кружка Погребов, не принимавший никакого участия в подготовке покушения, встретил на улице мчавшегося куда-то на санках Иванова. Заметив Погребова, Иванов окликнул его и, выскочив на ходу из санок, принялся тут же, на виду у прохожих, рассказывать:

— А знаешь, на днях будет большое дело, террористическое...

— Что ты! — испугался Погребов.

— Нет-нет! Это точно! Это совершенно точно! Я слышал от самих участников! Дело это потрясет всю Россию! Все перевернется...

— Постой! Погоди! — взмолился Погребов. — Зачем ты мне это говоришь?

— Как? Ты не хочешь знать?

— Мне незачем это знать! — справившись с первой растерянностью, так сердито отчеканил Погребов, что Иванов замолчал. — И вообще о таких делах нужно молчать. Тем более на улице. Честь имею, — поклонился Погребов, поспешно уходя.

Это предупреждение Погребова, конечно, не вразумило Иванова, и он продолжал болтать, что еще больше усиливало слухи о готовящемся террористическом акте. Слухи дошли до охранки. Так что даже в том случае, если со стороны Иванова не было прямого доноса, его «деятельность» сыграла на руку полиции.

6

Анна Андриановна Сердюкова познакомилась с Андреюшкиным, когда он еще учился в гимназии. Она была народной учительницей, но потом школу оставила и занималась только частными уроками. Несмотря на то, что Пахом был значительно моложе ее, между ними установились дружеские отношения. Когда Андреюшкин уехал в Петербург, завязалась деятельная переписка. Письма Пахома были обстоятельные и явно с политическим уклоном. Это настораживало Сердюкову и, когда она получила письмо с описанием добролюбовской демонстрации, решила не отвечать ему: слишком уж открыто он возмущался действиями правительства.

Не дождавшись ответа на это свое письмо, Андреюшкин не успокоился: он отправил второе, в котором спрашивал, чем объясняется ее молчание. Не получила ли она его письма или же не согласна с ним? В конце стояла приписка: «P. S. Если получите мое письмо и в нем не будет обозначено или число, или город, или не будет подписи, согрейте его на лампе и прочтите то, что вырисуется. И потом сожгите!» Сердюкова хорошо понимала, что это значит, к чему может привести подобная переписка: если Пахом не стеснялся в открытом письме ругать власти на чем свет стоит, то что же он химическими чернилами напишет? Она не знала, что ей делать: и отказываться от переписки не хотелось, и продолжать ее было опасно.

В начале февраля Сердюкова зашла к одним знакомым, и те ей сказали: получены известия, что Пахом якобы арестован. За что, никто не знал. Вернувшись домой, она нашла письмо от него. Подписи нет, текст самый безобидный: о новых книгах, о погоде, что значило — письмо нужно прогреть. Закрыв дверь и занавесив окна в комнате, она дрожащими руками поднесла листок к стеклу лампы, прочла проступивший текст: «Я поступаю в партию «Народная воля» и отдаю себя в ее полное распоряжение...» Так вот она, причина ареста! Анна Андриановна поспешно зажгла спичку и поднесла ее к листу...

Мать Андреюшкина жила в станице. Была она неграмотной, и когда получала от него письмо, то ехала в город, к Сердюковой, прося ее прочесть и отписать ему. Слух об аресте сына дошел и до нее, но вслед за этим известием прибыло письмо, из которого было ясно, что с ним ничего не случилось. Обрадованная мать помчалась в Екатеринодар показать его Сердюковой и попросить ее написать ответ. Это было сделано, а на второй день Анна Андриановна получила от него письмо, в котором он сообщал, что заболел тифом и его отправляют в больницу. Матери просил ничего об этом не говорить. Анна Андриановна перевернула листок и глазам своим не поверила: «Я прошу вас быть моей женой...» Да что это, галлюцинации? Нет, зрение ее не обманывает. Но что ж это ему в голову пришло? Ведь она старше его на шесть лет. Она никакого повода ему не давала. Она просто, видя, как тоскует по нему мать, старалась относиться к нему, как к брату...

Всю ночь Анна Андриановна не могла сомкнуть глаз. Она перебирала в памяти все свои встречи с ним, стараясь понять, почему он вдруг решил просить ее руки. Да, он ей нравился. Высокий, статный, темнорусые вьющиеся волосы, горячие карие глаза — отец его был греком — и взгляд, всегда устремленный куда-то вдаль. Но он ведь по сравнению с ней был юнцом. У него, при всей его начитанности и развитости, совсем, как ей казалось, отсутствовал здравый смысл: он очертя голову мог полезть в самое опасное дело! Она хорошо помнит, как отговаривала его от затеи взорвать гимназию... А если бы ему тогда удалось это сделать?.. Вспомнить страшно! И матери ему не жаль и ее не жаль: вступил в партию, взялся за какое-то рискованное дело и в то же время хочет связать свою жизнь с ее жизнью... Нет, непостижимой души человек!

Письмо Анна Андриановна спрятала на груди. Перед утром она забылась в тяжелой дремоте и, очнувшись, не могла понять, снилось ли все это ей, или она действительно получила такое письмо. Она достала письмо, принялась перечитывать его и увидела: на

чистой стороне листа еле заметно проступили буквы. Она кинулась к лампе, прогрела письмо и прочла: «Должно быть покушение на жизнь государя. Я в числе участников. Смотрите не влопайтесь. Не пишите даже о своем согласии». Нет, он или с ума сошел, или же действительно заболел тифом и написал все это в бреду. Покушение на царя! Он принимает участие... И что это значит: «смотрите не влопайтесь»? Что ей грозит? Что ей делать, чтобы избежать опасности? Не писать ему? Так зачем же он добивается ее руки? Нет, от всего этого сумбура она сама сойдет с ума.

«Что делать? Что делать? — спрашивала себя Анна Андриановна. — Как его спасти? Поехать и рассказать матери? А если там ничего нет и все это просто бред больного, то в какое положение она поставит себя? И вдруг все это правда?..»

Узнав, что Шевырев уезжает, Канчер обрадовался: значит, так и вышло, как он предполагал, — поболтали и забыли. Но радость его была преждевременной: перед отъездом Шевырев зашел к Канчеру и Горкуну на квартиру вместе с Лукашевичем, сказал:

— Теперь вам задания будет давать Лукашевич. Что он скажет, все делайте! Понял, батюшка?

Канчер, не ожидавший такого оборота дела, принялся было путано говорить о своих убеждениях, о своем отношении к террору, но Шевырев круто оборвал его.

Когда Лукашевич передал этот разговор Ульянову, тот принялся шагать по комнате, что было признаком его сильного волнения.

— Я несколько раз, — с несвойственным ему раздражением начал он, — говорил Шевыреву: Канчер и Горкун не внушают мне доверия! Он упрямо стоял на своем.

7

— Василь Денисыч, вы к Говорухину заходили?

— Нет. И не пойду.

— Поссорились?

— Нет, я ни с кем не ссорюсь. Иногда хочу повздорить и... — Генералов развел своими ручищами и улыбнулся, — не получается как-то... Не получается, и сказке конец.

— Так что ж вы с Орестом Макарычем не поделили?

— Больно мрачное у него, Александр Ильич, расположение духа. Посидишь часик-другой — ей-богу, правду говорю, — и волком выть хочется, и то плохо, и там просвета не видно, и из этой затеи ничего не выйдет. Одно слово, ложись в гроб и помирай. А я, знаете, такой уж человек: мне муторно становится от могильных сказок. Ага! Вот я и перестал бывать у него... И коль зашел об этом разговор, то я всю сказку изложу: не нравится мне, что он... Откровенно говорить, а?

— А как же иначе?

— Не верит он в наше дело. Вот где корень всей сказки. И говорит много...

Генералов был прав: оживление Говорухина, по мере того как дело приближалось к концу, сменялось унынием, а потом и тупым отчаянием.

Постоянное нытье Говорухина, его болтовня мешали работать и другим. Это заставило Ульянова пойти на крайнюю меру: он заложил свою золотую медаль, полученную в университете, за сто рублей и отдал деньги Говорухину, чтобы тот смог уехать за границу. Говорухин с нескрываемой радостью забрал эти последние деньги у группы и поспешно начал собираться. План у него давно уже был выработан: он доедет до Вильно, там получит паспорт — а возможно, и немного денег — и спокойно махнет через границу. Чтобы охранка, следившая за ним, сразу же не кинулась на розыски, он хозяйке сказал, что ложится в больницу. Шмидовой заготовил письмо, в котором сообщал: «Если отыщут мой труп, то я прошу никого не винить в моей смерти». Подписался так: «О. М. Г. Угадаете?»

— Из Вильно я отошлю это письмо на твой адрес, — говорил он, прощаясь с Александром Ильичем на Варшавском вокзале. — А тебя прошу: отправь

его через несколько дней по городской почте. Пока полиция будет искать мой труп, я переберусь через границу. Ну, Александр Ильич, не поминай лихом...

— Счастливо... доехать, — тихо отвечал Саша.

— Эх... Никак не могу я смириться, что ты остаешься. Тебе — я сердцем это чувствую! — нужно уезжать.

— Давай не будем ворошить то, что решено.

— Но ведь ты идешь на верную гибель!

— Я это знал, когда брался за дело.

— Непостижимый ты человек! — вырвалось у Говорухина. — И если мне и жаль кого-то покидать в этой богом проклятой России, так тебя. Утешаю себя только одним: мы еще встретимся!

Вернувшись домой, Саша долго шагал по своей большой и пустой, как сарай, квартире. Он хорошо понимал, что Говорухину лучше было уехать, а сердце что-то щемило: вот выбыл еще один из строя. Теперь все дела невольно переходят в его руки: и руководство металлщиками, и печатанье программы, и выпуск листовки, если покушение удастся. Листовку эту он уже составил, все одобрили ее, после чего он выучил ее на память и уничтожил. Лукашевич хотя и здесь, но держится в стороне и если бы он завтра, положим, куда-то тоже уехал, то все дело остановилось бы. Но стоило ли в таком случае затевать его? Стоило ли тратить на него столько времени и сил?

Тянуло побыть на людях, а в этот вечер, как на грех, никто не появлялся. Идти к Ане ему не хотелось: с ней только растравишь душу разговорами о доме. Последнее время он совсем почти не писал матери: не поднималась рука лгать, что у него все хорошо. Гнал от себя мысли и о том, как мать примет известие о его участии в покушении на царя. Как все отразится на судьбе родных. Володя в этом году кончает гимназию — он тоже кандидат на золотую медаль! — и ему будет трудно. Но разве ему, Саше, легко? И разве он имеет право покой семьи ставить выше судьбы народа?

В дверь кто-то постучал.

— Войдите! — обрадованно крикнул Саша.

— Это я.... гм... — бормотал дворник Матюхин. — Хозяйка говорит, зайди, может, какая надобность есть...

— Благодарю вас. Мне ничего не нужно.

— Господин Чеботарев, значит, уехал?

— А разве он вам об этом не заявлял?

— Заявлял... Да иногда случается: заявит, а живет... гм... Вы, сказывала хозяйка, тоже ищете комнату?

— Да. А у вас что, есть адрес?

— Нет. Это я так... по долгу службы... С нас ведь такой строгий спрос — беда! Просто не служба, а каторга. А платят что? Сказать вам, так не поверите. А у меня старуха больна, ноги отнялись; дочка с двумя ребятишками из Владимира возвернулась. Муж ее на ткацкой работал, пришло в голову бунтовать. Посадили. Здоровье слабое, и отдал он за решеткой богу душу... Мне и так солоно ото всего этого, а пристав чуть что — кулаком по столу: щенков бунтовщика пригрел! Я тебе, мол... и все такое подобное...

От Матюхина несло водкой. Это значило: он будет изливать душу до тех пор, пока не получит на опохмел. Саша дал Матюхину денег на бутылку, и у того вмиг прошла охота жаловаться на свою судьбу.

После того как Саша принял активное участие в подготовке покушения, он редко посещал экономический кружок. Со времени ареста Никонова и совсем почти не показывался там. Но в этот вечер у него так тяжело было на душе, что не знал куда деваться. Вспомнив, что в пятницу занятия кружка, пошел туда. Весь вечер просидел, не проронив ни слова. Все знали, что он не из говорливых, и никто этому не удивился. Но вид его многих поразил. По пути домой Елизаров и Чеботарев, заметив, что у него какая-то тяжесть на душе, завели его в кофейню на Невском. Но Саша, выпив кофе, стал прощаться.

— Куда же вы, Александр Ильич? — взмолился Марк Елизаров. — Я вас вечность не видел! Посидите, ради бога!

— Да и я по вас скучаю, — поддержал его Че-

ботарев, — расскажите хоть, как вы там обитаете один? Я думал, вы уже перебрались куда-то на новое место....

— Делал попытки, но неудачно. А тут срок уплаты подошел... В этом месяце придется лучше поискать.

Саша посидел еще несколько минут, разговор не вязался, и он, сказав, что у него есть спешное дело, ушел.

— Заметили ли вы, Марк Тимофеевич, какое у него странное было выражение лица?

— Да, да, — подтвердил Елизаров, — я тоже, глядя на его лицо, не мог отделаться от какого-то странного чувства...

— Может, у него какое-то горе стряслось? — высказал предположение Чеботарев. — Помните, какой он был, когда умер отец?

8

Андреюшкину и Генералову Ульянов сказал, что вместе с ними на Невский выйдет еще один металльщик, привлеченный к делу Шевыревым и Лукашевичем. Но кто он, как его фамилия, им никто не говорил. Они понимали, что делалось это из конспиративных соображений, и не настаивали на знакомстве. После того как уехал Шевырев, а за ним и Говорухин, Ульянов сказал Лукашевичу:

— Мне кажется, пора свести металльщиков.

— Да. Но как это лучше сделать?

— Пусть встретятся где-нибудь по паролю. Это самое надежное.

На второй же день Ульянов дал пароль Андреюшкину, рассказал ему, о чем нужно договориться с Осипановым, и тот вместе с Генераловым пошел на свидание. Встреча была назначена на Михайловской улице в Варшавской кондитерской. Осипанов должен был сидеть там за стаканом кофе. На столе перед ним — шапка, а в шапке — белый платок. Генералову и Андреюшкину нужно было сесть возле этого столика и потребовать чаю.

Когда Андреюшкин и Генералов зашли в кондитерскую, за одним из столиков они увидели брюнета среднего роста, коренастого, крепко сложенного. Выбрав удобную минуту, Андреюшкин спросил:

— Вы не скажете, сколько времени?

Человек пристально посмотрел своими косыми глазами на Андреюшкина, пододвинул к себе шапку с платком и только после этого достал из кармана часы, ответил на пароль:

— Семь или восемь, но у меня часы отстают на тринадцать минут.

Друзья выпили чай, Осипанов — свой кофе и первым вышел из кондитерской. Генералов и Андреюшкин пошли за ним. Около университета познакомились и, гуляя по набережной, наметили было совершить покушение возле манежа, но Осипанов доказал, что это неудобно.

— Я много думал и нахожу, что лучше всего сделать это на Невском. Там всегда много народу, и наше присутствие никому не кинется в глаза. Если на Невском не удастся сделать нападение, то тогда перейдем на Екатерининский канал.

— На Екатерининский канал? — удивился Андреюшкин. — Но ведь там же была и Перовская...

— И что же? Это самое удобное место, ибо шпикам и в голову не придет, что бомба может взорваться точно на том месте. Ну, а если и на Екатерининском канале не удастся, тогда перейдем на Большую Садовую. Я еще не знаю сигнальщиков, а между тем от них наполовину будет зависеть дело.

— Да-а... — сбив кубанку на лоб и почесав затылок, вздохнул Генералов. — Мы хотя и знаем их, но... Не та сказка! Верно, говорю, Пахом?

— Верно. Но без сигнальщиков нам тоже трудно будет. А других где же теперь взять?

Вместе с Лукашевичем 21 февраля у себя на квартире Александр Ильич привел снаряды в боевую готовность. Канчер и Волохов отнесли их к Генералову и Андреюшкину.

В эти же дни Ульянов собрал всех членов первой боевой группы на квартире Канчера. Он еще раз

объяснил им устройство бомб и их действие и прочел программу террористической фракции. Осипанов взялся руководить операцией и предложил свой план действия. Он торопился с выходом на Невский: как стало известно, царь собирался уезжать на юг.

Конец февраля и начало марта были днями панихид по убитому народовольцами императору Александру II и торжеств по восшествию его преемника на престол. 24 февраля — царский день. Императора ждали в Исаакиевском соборе. Осипанов под наблюдением Ульянова вставил в снаряды запалы, и группа ушла на Невский. У собора все было приготовлено к торжественной встрече царя, но он почему-то не появлялся. Осипанов подошел к одному околоточному надзирателю — собор был окружен плотным кольцом полицейских, — спросил:

— Что это так народу много скопилось у собора? Не его ли императорское величество государь соизволит приехать?

— Так точно. Нам приказано ждать...

— Почему же он не приезжает?

— Не могу знать.

— Может, его уже и не будет?

— Как знать...

Дело клонилось к вечеру, народ стал расходиться, а когда стемнело, сняли и охрану. Раздосадованный Осипанов подал знак отправляться по домам.

27 февраля — это был уже второй день выхода метальщиков на улицу — из Харькова сообщили в департамент полиции, что «студент Никитин по предъявлении ему копии письма заявил, что оно получено от знакомого ему студента Петербургского университета Андреюшкина».

В тот же день директор департамента П. Дурново послал полученные сведения градоначальнику Грессеру с просьбой «учредить непрерывное и самое тщательное наблюдение» за Андреюшкиным. Он указывал также, что Андреюшкин и «ранее был замечен в сношениях с лицами, политически неблагонадежны-

ми». Грессер приставил к Андреюшкину двух агентов и уже 28 февраля писал Дурново: «...установлено, что Андреюшкин вместе с несколькими другими лицами с двенадцатого до пятого часу дня ходил по Невскому проспекту; причем Андреюшкин и другой неизвестный несли под верхним платьем какие-то тяжести, а третий нес толстую книгу в переплете».

Из этого донесения петербургской охранки видно: поводом для установления наблюдения за участниками покушения послужило письмо Андреюшкина к студенту Никитину. Но хотя агенты и заметили, что Андреюшкин и его друзья несли какие-то тяжести, им и в голову не приходило, что то были бомбы, а потому они и не арестовали их.

Осипанов хорошо понимал, что ежедневное дежурство на Невском проспекте может привлечь внимание охранки, но при создавшихся обстоятельствах подругому организовать нападение было невозможно. Он приказал всем вести себя так, точно они не знают друг друга. Но именно это и заставило агентов прийти к выводу, что они в сговоре и явно что-то замышляют, так как знакомство их было установлено в первый же день наблюдений. Каждое утро Осипанов внимательно просматривал «Правительственный вестник». 28 февраля рядом с заметкой «О дозволении погребать умерших во время сильных летних жаров по истечении одних суток со времени смерти» он прочел такое сообщение: «Министр императорского двора имеет честь уведомить гг. первых и вторых чинов Двора и придворных, кавалеров, что 28-го сего февраля имеет быть совершена в Петропавловском соборе панихида по в Бозе почивающем императоре Александре II, после заупокойной литургии, которая начнется в 10 часов утра». Он был уверен, что царь тоже приедет в собор Петропавловской крепости на панихиду, и весь день продежурил там. В 17 часов по Аничковому мосту проехала императрица Мария Федоровна, а царь так и не появился на Невском. Агенты видели, как Осипанов что-то сказал Андре-

юшкину и Генералову, и все они ушли по домам. Агенты довели их до квартир и, убедившись, что они никуда уже не пойдут, поспешили доложить обо всем замеченном начальству.

Первого марта арестовали Андреюшкина и Генералова, собственно так, ради профилактики. Но когда при обыске у них обнаружили бомбы, начался страшный переполох. Агенты кинулись арестовывать всех, кто ходил вместе с ними по Невскому.

9

Дюжий верзила схватил Осипанова сзади за руки и с полицейской ловкостью вывернул их. Другой забежал вперед, испуганно крикнул, увидев, что Осипанов рванулся, силясь высвободить руки:

— Варламов, держи! Ах, господи, да покрепче... Вот так, — облапив Осипанова и шаря по карманам, командовал он.

— Куда лезешь? — двинул его ногой Осипанов. — Пусти руки!

— Варламов, держи! Городовой! Сюда! Держи, Варламов!

— Да ты свое делай!

— Молодой человек, вам лучше будет, стойте смирно, — вновь принимаясь обшаривать карманы, говорил второй и, не найдя ничего, спросил:

— Где револьвер?

— Пустите руки!

— Так нет оружия? — спросил Варламов, готовый отпустить руки.

— Держи, держи!

Подбежал городовой и, не спрашивая, в чем дело, — он был предупрежден агентами, — засвистел, грозно произнес:

— Господин студент, пожалуйте в участок.

— Что я сделал противозаконного?

— Пожалуйте, там разберутся.

— Отпустите по крайней мере руки.

— Варламов, держи! — закричал второй агент и тоже схватил его за руку.

Тут же подскочил извозчик, агенты, не отпуская рук, втолкнули Осипанова в пролетку, приказали:

— Кати!

Пролетка понеслась во весь дух. На одном из перекрестков Осипанов увидел Канчера. Тот шел, както обреченно опустив голову, и совсем не следил за тем, что делается вокруг него. «Вот сигнальщик, — с горечью подумал Осипанов, — даже не заметил, что меня схватили. А может, это он навел на меня шпиков и делает теперь вид, что ничего не заметил? Да, но ведь снаряд они у меня не отобрали, приняв, видимо, его за книгу. Значит, они не подозревают, что я участник покушения; значит, полиция ничего не знает о нашем замысле и агенты меня схватили, видимо, по каким-то другим соображениям. Но чем я навел подозрение на себя? Какие у них улики?»

Пока ехали, Осипанов перебрал множество вариантов и понял: какой бы ни была причина его ареста, полиция, обнаружив бомбу, поймет, кто схвачен. Но если другие метальщики не арестованы, то нужно сделать все, чтобы они могли произвести покушение. Выход из положения один: при первой же возможности бросить бомбу. Взрыв уничтожит агентов — о том, что он сам погибнет, он даже не думал, — это оттянет на некоторое время раскрытие заговора и даст возможность Андреюшкину и Генералову довести его до конца. Да, именно так: взрыв не только не повредит делу, а, вызвав переполох в охранке, отвлечет ее внимание от главного.

Не отбирая книги-бомбы, агенты, ссадив Осипанова с извозчика, повели его по какой-то узкой и глухой лестнице с крутыми, почти винтовыми поворотами. Втроем и так трудно было идти бок о бок по узкой лестнице, а на крутых поворотах агенты, пыхтя, долго топтались на месте, прежде чем им удавалось протиснуться. Улучив момент, когда агенты стиснутые на одном из поворотов, немного отпустили руки, Осипанов потянул за бечевку, которая должна была порвать бумажную перегородку (только при этом условии бомба взрывалась от удара). В спешке он потянул за бечевку так сильно, что она оборвалась.

Агенты услышали треск порвавшейся веревки, но не поняли, в чем дело, и только сильнее зажали ему руки.

— Что ты сделал? — закричал агент Варламов. — Что у него треснуло?

— Не знаю.

— Держи тогда крепче. Ну, давай двигай!

Агенты зажали руки Осипанова, и не было никакой возможности бросить бомбу так, как это требовало ее устройство. Но когда они его привели через какой-то коридор в комнату (там за одним столом сидел полицейский офицер, за другим — какой-то чиновник) и отпустили руки, он сделал шаг вперед, боясь, как бы агенты, заметив движение, не схватили опять его за руки, и с силой грохнул бомбу об пол метрах в трех от себя. Осипанов видел, как книга-бомба летела корешком кверху, как она ударилась углом о пол. Он закрыл глаза, подумал: «Все!» Но вместо взрыва послышался только глухой стук. Офицер вздрогнул и схватился за оружие, но увидел, что упала книга, устыдился своей трусости, сердито крикнул:

— Что стоите, разинув рты? Поднимите!

— Фу, какой дерзкий! — вытирая вспотевшую шею, вздохнул чиновник.

Агенты, все еще не понимая, с чем они имеют дело, кинулись выполнять приказание. Один из них схватил книгу. Почувствовав, что она подозрительно тяжелая, он поднес ее зачем-то к уху и вдруг затрясся от перепуга, не в силах выговорить ни слова.

— Что такое? — увидев его побледневшее лицо и трясущиеся губы, крикнул офицер, проворно метнувшись в самый дальний угол.

— Бо... Бом-ба... По-о... Посмотрите...

— Куда прешься, идиот? — не своим голосом закричал офицер. — Стой на месте и не шевелись!

— Ваше благоро-ородие, — взмолился агент, — у меня жен-на, де-ети...

— Не шевелись, тебе говорят!

— Герои! — презрительно заметил Осипанов. — Дайте-ка ее сюда!

— Стой! — храбро скомандовал офицер, выхватив револьвер. — Ни с места! Тимофеев, положи бомбу вон в тот угол! Варламов, беги к начальнику...

Захлопали двери, забегали агенты. В коридоре неслось тревожное:

— Бомба... Бомба...

Долго так стояли: офицер с наведенным на Осипанова револьвером, трясущийся от страха агент Тимофеев с бомбой в руках. Чиновник, бросив все — он расшифровывал что-то, — удрал. Как только Тимофеев делал попытку переступить с ноги на ногу, офицер кричал из своего дальнего угла:

— Замри!

В щели приоткрытой двери, наконец, появился Варламов.

— Ваше благородие, — почему-то шепотом начал Варламов, — их благородие приказали отнести ее на задний двор и положить там, пока кого надо вызовут.

— Так возьми и отнеси! — приказал офицер, но Варламов проворно прикрыл дверь.

— Давайте я отнесу! — не в силах сдержать смех от всей этой комедии, предложил свои услуги Осипанов.

— Ни с места! Тимофеев, пошел вон, дубина! — с яростью крикнул офицер, переводя пистолет на агента.

Это помогло: Тимофеев испуганно попятился к выходу, держа бомбу в вытянутых руках, и, открыв дверь своим чугунным затылком, скрылся. Офицер облегченно вздохнул, спрятал пистолет, не глядя на Осипанова, спросил:

— Вы что хотели сделать?

— Испытать вашу храбрость, — спокойно, с улыбкой ответил Осипанов.

— Так она неспособна была взорваться?

— Спросите эксперта.

— Так... Что вы намеревались взорвать?

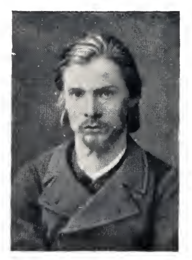
— Ваше почтенное учреждение.

— Почему в таком случае ходили по Невскому?

— Оттуда легче всего попасть к вам. Невский ведь давно уже стал коридором полицейского управления.



Александр Ульянов после окончания гимназии



Петр Шевырев.



Василий Генералов.



Пахомий Андреюшкин.



Василий Осипанов.

— Перестаньте паясничать! Я вас вполне серьзно спрашиваю.

— А я вам вполне серьезно и отвечаю.

Как храбрый офицер ни изощрялся, как он ни угрожал, ему ничего не удалось узнать от Осипанова, и он приказал увести его. Два жандарма, как и агенты при аресте, схватили его за руки, потащили по тому же темному коридору, спустили по лестнице, видимо, в подвал и втолкнули в совершенно темную, сырую и глухую, как могила, камеру. Осипанов никогда в тюрьме не сидел, но много слышал о тюремных порядках от тех, кто побывал в ней. Держась руками за скользкие стены, он обшарил камеру — она была довольно большой — и пришел к выводу, что это, видимо, карцер. Сесть было не на что, и он, прислонившись к двери, напряженно начал прислушиваться. «Если арестуют еще кого-нибудь, — думал он, — то они, наверное, приведут сюда. Тогда будет ясно: весь наш заговор раскрыт. Но нет — не может этого быть! Если бы они знали, кого арестовывают, не оставили бы бомбу у меня в руках. Да, но почему же она не взорвалась? Сделана плохо или веревочка подвела? И что, если Андреюшкин и Генералов встретят царя, бросят свои бомбы и они не взорвутся? И как это мы не испытали одну из них? Все спешка...»

Примерно через час по коридору провели кого-то. Неужели Андреюшкина и Генералова? Не прошло минут и десяти-пятнадцати, как опять кого-то провели. Потом еще... Осипанов приник ухом к окованной железом двери. Мимо шли, закрыв, видимо, камеры, надзиратели. Осипанов услышал обрывок разговора:

— И большие?

— Говорят, пудовые...

— Эва-а!..

По этому разговору трудно было что-то наверняка заключить. Слово «большие» обозначало, что разговор шел о нескольких бомбах, но то, что они пудовые, было явно плодом полицейской фантазии. А раз полицейская фантазия сделала бомбы пудовыми, то она с таким же успехом могла одну превратить в сто. Но нужно выбирать худшее из всех предположений.

Положим, арестованы все. Что в таком случае говорить следователю, который не замедлит вызвать его? И точно: не успел он перебрать несколько вариантов, как за ним пришли. Провели его уже в другой кабинет, к капитану Иванову. Высокий, с прыщеватым лицом капитан встретил его с казенной полицейской любезностью, пригласил сесть. Но капитану ничего не удалось добиться от Осипанова. Показание его было кратким, выдержанным, в нем он признавал только то, что никак нельзя было отрицать. Он написал: «Я... не отвергаю того, что сего числа я задержан с метательным снарядом... С какой целью я имел этот снаряд, от кого, когда и где получил таковой, я в настоящее время объяснять не желаю...»

10

Первого марта был воскресный день. Погода стояла солнечная, весенняя. Аня, испытывая постоянную тревогу за Сашу, собралась утром идти к нему. Но к ней зашла Шмидова и сказала, что она была уже у Александра Ильича и не застала его дома. Появился Марк Елизаров, и они втроем пошли побродить по городу. Шмидова вскоре оставила их, но разговор у Ани со своим спутником все равно не вязался: ее не покидала тревога за брата. Куда это он так рано ушел? Какие у него дела в воскресенье? Раньше он в свободные дни всегда утром приходил к ней...

Аня вспомнила, как отец наказывал ей: «Береги Сашу!» Как мать о том же просила ее. Но как же она может уберечь его от чего-то, если он все таит от нее? Вот в среду она зашла к нему и застала у него какое-то собрание. Таких людей она никогда не видала до сих пор, хотя и знает всех его знакомых. Саша вышел с нею в другую комнату, не скрывал, что занят. Аня, видя, что помешала, поспешила уйти. Она не могла понять, что происходило у Саши, но одно ей было ясно: он не хотел ее посвящать в эту тайну.

Вернувшись с прогулки домой, Аня спросила хозяйку, не заходил ли брат, и, узнав, что он не по-

являлся, принялась ждать его. Идти к нему она не решалась — еще помешает! — да и боялась разминуться в дороге. Время шло, а Саши все не было. Что же с ним могло случиться? Ведь она вчера встретила его на улице, и он обещал, что зайдет. Слово он всегда держал твердо.

Прождав весь день, Аня не вытерпела и вечером побежала к брату. Она еще издали увидела, что окна его квартиры ярко освещены, и обрадовалась: значит он дома, значит с ним ничего не случилось! Она вбежала по лестнице, нетерпеливо позвонила. Дверь мгновенно открылась, и она увидела: в комнатах все перевернуто, во всех углах роются полицейские. У Ани сердце оборвалось: случилось то, чего она боялась! Но, может, обыск ничего не даст? Саша ведь такой осторожный... Да, но где же он сам? Или они нагрянули, когда он вышел из дому? Может, он сейчас как раз у нее? Как бы его тогда предупредить?

Аня сделала несколько шагов к выходу, но ее остановил офицер:

— Вы кто будете? Знакомая?

— Сестра. А что вам угодно?

— Очень хорошо. Я буду вам обязан, если вы не сочтете за труд поприсутствовать здесь, пока мы закончим обыск.

Аня осталась. Она не допускала и мысли, что может быть арестована. Обыск еще не закончили, как пришел Валентин Умов (он учился в Московском университете и приехал на несколько дней). Аня обрадованно встретила его, дала свой адрес, прося зайти. Жандармы, видя такую святую наивность, только глазами замигали.

Перерыв все в комнатах Саши, несколько полицейских отправились на ее квартиру. Ничего им у Ани найти не удалось, кроме так называемой «инфузорной» земли, которую Саша привез из Кокушкина еще прошлым летом и оставил в этой, ранее занимаемой им комнате. Землю полиция вытягивала из ящика комода с такими предосторожностями, что Аня не могла удержаться от улыбки. Объяснения Ани, что это простая земля, не удовлетворили жандармов,

й они забрали ее. Взяли они также и письмо на имя приехавшей из Вильно Анны Лейбович, которое Аня по наивности своей в конспиративных делах, уходя из дому, оставила на столе. По дороге в охранное отделение пристав, сокрушаясь, говорил ей:

— И что за молодежь пошла! И наказывают вас за провины куда как строго, а все вы не каетесь. Ну, что это взбрело вот в голову студенту Генералову бросать бомбу в государя, а? Да понимал ли он, на кого руку поднимал? А теперь вот берут всех его знакомых...

Аню охватил ужас: Генералов бросил бомбу! Он был знаком с Сашей, он часто заходил к нему, она его видела среди тех незнакомых людей, которые были у брата. Как все это отразится на Саше? Аня и сейчас еще не поняла, что Саша является активным участником всех дел, а не просто знакомым Генералова. Только в одиночной камере — из охранного отделения ее отправили в Дом предварительного заключения — она, восстанавливая в памяти события последнего времени, встречи и разговоры, продумывая все то, что тогда казалось ей непонятным и загадочным в поведении Саши, с ужасом поняла: дело тут не только в знакомстве брата с Генераловым.

11

Все три метальщика, задержанные с бомбами, вели себя на допросе твердо и выдержанно.

Так же как Осипанов, признали свою принадлежность к революционной партии Андреюшкин и Генералов, но категорически отказались назвать лиц, готовивших вместе с ними покушение. Они только признавали, что несли снаряды с целью цареубийства, так как находили это необходимым для облегчения существующего строя. «Это решение, — говорил Андреюшкин, — у меня было плодом не аффекта, не увлечения, а плодом продолжительного зрелого размышления и взвешивания всех могущих быть случайностей».

Не так вели себя Канчер и Горкун. На первом же допросе, испугавшись пыток, которыми грозил им прокурор, они начали выдавать всех...

Первое марта Ульянов провел на квартире Лукашевича в томительном ожидании развязки. Время шло, а известий от группы никаких не было. Лукашевич строил всевозможные предположения, а Ульянов молча шагал из угла в угол. В четыре часа дня он не выдержал, сказал:

— Нужно навести какие-то справки.

— Но как?

— Я пойду на квартиру Канчера, а вы загляните в столовую. Туда мгновенно прилетают все новости.

На том и порешили. На квартире Канчера была уже устроена засада, и Ульянова арестовали. При обыске у него взяли записную книжку. В ней были записаны шифром некоторые адреса, какие-то расчеты, похожие на рецепты, чертежи.

12

Министр внутренних дел граф Дмитрий Толстой уверял всех, что в России не осталось ни одного революционера, и вот, пожалуйста, опять заговор! Опять студенты появились на улицах Петербурга с бомбами в руках! Это известие вызвало переполох и полную растерянность слуг царевых. В донесении Александру III граф Толстой подробно описывал, как и где, с какими бомбами были задержаны преступники. Он подчеркивал то, что охранка негласным путем добыла письмо Андреюшкина и установила за ним наблюдение, не упоминая, конечно, что полиция не знала, за кем она следит.

Желание скрыть от общества истинное положение вещей у графа Толстого было так велико, что он писал в донесении царю: «Во избежание преувеличенных толков в городе по поводу ареста на Невском проспекте трех студентов с метательными снарядами я полагал бы необходимым напечатать в «Правитель-

ственном вестнике» краткое сообщение об обстоятельствах, сопровождавших их задержание, и на приведение сего предложения в исполнение долгом поставляю себе всеподданнейше испрашивать Высочайшего Вашего Императорского Величества соизволения».

Царь начертал резолюцию: «Совершенно одобряю и вообще желательно не придавать слишком большого значения этим арестам. По-моему, лучше было бы узнавать от них все, что только возможно, не предавать их суду и просто без всякого шума отправить в Шлиссельбургскую крепость. Это самое сильное и неприятное наказание. На этот раз бог нас спас, но надолго ли? Спасибо всем чинам и агентам полиции, что не дремлют и действуют успешно».

Однако «просто и без всякого шума», как того хотелось царю, покончить с революционерами не удалось. Слух о том, что грозная «Народная воля» опять заявила о себе, мгновенно разнесся по городу. Жена шталмейстера Арапова писала в своем дневнике: «2 марта... Вчера муж вернулся с волнующей новостью. Он отправился к Звегинцеву, который рассказал ему, сам еще взволнованный, что его племянник князь Черкасский только что возвратился с завтрака у Ширинкина, правой руки Шервуда во всех вопросах охраны, и что в ту минуту, когда он собирался ехать на станцию Гатчино, чтобы сопровождать возвращение государя, ему позвонили, что четыре личности, вооруженные каждый бомбой, были арестованы — двое под аркой, два других на углу Морской и проспекта. Ширинкин настолько не ожидал этого, что ему тут же сделалось дурно, и это-то и выдало этот секрет молодому человеку.

Между тем, как они рассуждали о возможности подобной вещи, является Чекашев и повторяет им слово в слово ту же историю: он слышал ее от Васильевского, который пригласил его к себе в Аничковский дворец завтракать. Этот последний источник еще более подлинный. Он добавляет даже, что обстоятельством, расстроившим их план, явилась перемена, произведенная в последний момент в маршруте: вместо того, чтобы отправиться прямо из Петро-

павловской крепости на вокзал, государь и государыня заехали позавтракать к великому князю Павлу в Зимний дворец. Это запаздывание позволило полиции задержать этих чудовищ на улице.

Следуя программе Толстого, обо всем продолжают хранить тайну. Многочисленные аресты в военных корпусах не были упомянуты ни в одной газете. И тем не менее сегодня в Исаакиевском соборе Милютин расспрашивал Адельсона и последний, хотя и отрицал бомбы, захваченные на улице, признался, что напали на след серьезного заговора и что многочисленные аресты были произведены как вчера, так и сегодня ночью. Как ни меняют систему играть в прятки с целой нацией, оставляя ее в неведении обо всем, что затрагивает ее интересы, гидра социализма не может быть раздавлена руками такого рамолика, как Толстой, и, с моей стороны, у меня, право, больше веры в божественный промысел, чем в бдительность их охраны, которая жиреет на миллионы, которые она стоит.

4 марта... Как я имела вполне основание предчувствовать, один бог спас угрожаемые дни императорской семьи, так как они должны были оставить Аничков в четырехместных санях, чтобы отправиться в крепость — отец, мать и двое старших. Его величество заказал заупокойную обедню к 11 часам и накануне сказал камердинеру иметь экипаж готовым к 11 часам без четверти. Камердинер передал распоряжение ездовому, который, по опрометчивости, — чего никогда не случалось при дворе, — или потому, что не понял, не довел об этом до сведения унтер-шталмейстера. Государь спускается с лестницы — нет экипажа. Как ни торопились, он оказывается в досадном положении простых смертных, вынужденных ждать у швейцара, в шинели, в течение 25 минут.

Не припомнят, чтобы его видели в таком гневе из-за того, что по вине своего антуража он настолько запаздывает на службу по своем отце, и унтер-шталмейстер был им так резко обруган, что со слезами на глазах бросился к своим объяснять свою невиновность, говоря, что он в течение 12 лет находится

на службе государя и решительно никогда не был замечен в провинности. Он был уверен в увольнении и не подозревал, что провидение избрало его служить нижайшим орудием своих решений.

Государь покидает Аничков после того, как негодяи были отведены в участок, и, только прибыв к брату в Зимний дворец, он узнал об опасности, которой он чудом избежал... Если бы запоздание не имело места, государь проезжал бы в нескольких шагах от них».

Наследник престола, будущий император Николай II записал в дневнике:

«1 марта. Воскресенье. Гатчино.

Проснулся в 7 ч. После кофе читали. Надев преображенский мундир, поехал с папа в крепость. В это время могло произойти нечто ужасное, но, по милости божьей, все обошлось благополучно: пятеро мерзавцев с динамитными снарядами было арестовано около Аничкова! После завтрака у дяди Пица поехали на железную дорогу и там узнали об этом от папа... О! Боже! Какое счастье, что это миновало! Приехали в милое Гатчино в ½ четвертого и стали разбирать книги и вещи. Пили чай и обедали с дорогими папа и мама».

Провидение ли спасло Александра III, или нерадивый ездовой, трудно судить. Но одно ясно из этих дневников: агентов полиции за то, что они «не дремлют и действуют успешно», благодарил он с перепугу. Агенты, как отмечает в этом же дневнике и Арапова, «были далеки от допущения мысли, что их поднадзорные ходят с бомбами». С 26 февраля по 1 марта метальщики выходили на Невский, и полиция их не трогала, не зная, что они затевают. Это в то время, когда у них было письмо Андреюшкина!

Александр III так был напуган арестом заговорщиков, что тут же умчался в «милое Гатчино» со всей своей августейшей семьей и даже из дворца не показывался. Из Гатчино в Петербург и обратно неслись один курьер за другим: царь требовал докладывать ему о ходе дознания.



ГЛАВА ДЕВЯТАЯ

1

— Раздеться! — командовал жандарм. — Все! Все снять! Три шага в сторону. Нет, не сюда, а туда, — ткнув в угол камеры пальцем, продолжал он. — Стой! Начинайте!

Двое тюремщиков с ловкостью карманщиков обшарили всю одежду Саши, заглянули в рот, в ноздри, ощупали волосы и отступили в стороны с видом людей, исполнивших свой долг. После унизительной процедуры обыска к ногам Саши бросили крепостное белье, коты и халат.

— Одеваться!

Вся орава тюремщиков следила за тем, как Саша напяливал арестантское одеяние, и только после этого удалилась. Тяжелая, окованная железом дверь глухо стукнула, звякнул замок. Саша окинул взглядом камеру. Сводчатый потолок, черный от копоти, пол покрыт асфальтом. Окно маленькое, под самым потолком, стекла закрашены. Двойная железная решетка. Железная кровать, привинченная к стене, поднята и заперта на замок. Массивный дубовый столик — он тоже наглухо укреплен, — на нем грязная керосиновая лампа с черным от копоти стеклом; в углу — параша. Из крана тонкой струйкой сочится вода, нарушая гробовую тишину. Первым движением Саши было прикрыть кран, но ему это не удалось сделать: вода продолжала сочиться.

Подойдя к двери, Саша увидел, что в ней прорезано квадратное отверстие, в которое, видимо, подавали пищу. Выше — застекленный продолговатый глазок, через который часовому, шагающему по коридору, видно все, что делается в камере. Часовой уже несколько раз успел совершенно бесшумно подойти к двери и заглянуть. Осмотрев дверь, Саша принялся шагать по камере. Большие коты спадали с ног, шлепали по асфальтовому полу. От грубого полного костры белья неприятно чесалось все тело. Когда стоишь, то костра не так впивается в тело, но тогда гнетет, странно давит какая-то каменная тишина.

Всю первую ночь в крепости Саша глаз не сомкнул. И в постель не лег, хотя надзиратель, явившийся в камеру в сопровождении двух часовых, и открыл замок кровати. Он шагал из угла в угол и думал: «Что же произошло? Кто еще арестован, кроме Канчера? Удалось ли бросить бомбы под экипаж царя? Что сталось с Осипановым, Генераловым, Андреюшкиным? Что полиция знает о нем? Почему его привезли прямо в крепость? Ведь на квартире они ничего не могли найти такого, что указывало бы на его участие в заговоре». Он еще и еще раз продумывал каждый свой шаг в последние дни. Нет, он сам ничего не мог дать полиции в руки! Значит, его взяли только потому, что он попал в засаду.

В ночь со 2 на 3 марта Сашу поднял надзиратель, приказал собираться. Вошел офицер с двумя конвойными жандармами, и процессия двинулась по темному коридору крепости: офицер впереди, жандармы по бокам, надзиратель сзади. Во дворе, хотя Саша и не сопротивлялся, жандармы подхватили его под руки и толкнули в стоявшую у самого выхода карету. Жандармы сели по бокам, офицер напротив, кони рысью хватили с места, и карета загрохотала. Окна кареты были плотно закрыты, и Саша не мог определить, куда его везут. По мрачному виду офицера и жандармов, следивших за каждым его движением, он заключил: они на него смотрят как на важного преступника. Им, видимо, приказано соблюдать всяческие предосторожности, потому что малейшее движение его вызывало у них беспокойство. Саша хотел спросить офицера, куда его везут, но не стал этого делать: все равно ведь не скажет.

Вот карета остановилась, заскрипели ворота. Карета опять двинулась, но тут же остановилась. Офицер открыл дверку, вылез, приказал:

— Выводи!

Увидев, что он опять во дворе департамента полиции, Саша понял: будет допрос. Его провели какими-то закоулками, соблюдая ту же строгость, что и в крепости. Поднялись на второй этаж. На первой двери он прочел надпись: «Канцелярия для производства дел о преступлениях государственных». Офицер открыл эту дверь, и Саша меж двух жандармов вошел в коридор одной из губерний царства Дурново. Из комнаты в комнату со страшно озабоченными лицами носились офицеры и чиновники. Но как они ни спешили, ни один из них не прошел мимо Саши, чтобы пристально, с каким-то наглым любопытством не осмотреть его. В огромной комнате, куда Сашу завел офицер, было четверо: жандармский офицер и три чиновника. Офицер стоял за столом, один чиновник восседал в мягком кресле у его стола, а два других, чинами пониже, сидели в сторонке, сонно помигивая красными глазами. Перед ними лежали листы чистой бумаги, ручки. Офицер любезно пригласил Ульянова

сесть, представился — ротмистр отдельного корпуса жандармов Лютов.

— Мне приказано, — продолжал торжественно он, — на основании закона от 19 мая 1871 года в присутствии товарища Санкт-Петербургской судебной палаты господина Котляревского,— он показал на чиновника, развалившегося в кресле, — и двух понятых писарей Хмелинского и Иванова произвести допрос.

После стандартных вопросов протокола: звание, занятие, экономическое положение родителей, привлекался ли раньше к дознаниям и чем они окончены, спросил:

— А теперь расскажите, какое участие вы принимали в подготовке покушения на священную особу государя императора.

— Еще что прикажете? — спокойно вопросом на вопрос ответил Саша.

— Я попрошу вас запомнить: здесь спрашиваю я! — вспылил ротмистр, звякнув медалями, украшавшими его грудь.

— А я попрошу вас вспомнить, что я не писарь вашей канцелярии, — так же спокойно, ни на одну нотку не повысив голоса, ответил Саша.

— Одну минуту, господин ротмистр, — приподняв руку, остановил его Котляревский. — Позвольте мне задать господину Ульянову несколько вопросов. Сколько метательных снарядов было изготовлено на вашей квартире?

— Я не желаю отвечать.

— Кто был руководителем и организатором вашей группы? — продолжал Котляревский таким тоном, точно Саша вполне удовлетворительно ответил на его первый вопрос.

— Я не желаю...

— Хорошо! — грубо оборвал Сашу на полуслове Котляревский. — Скажите тогда, какое участие вы принимали в подготовке покушения на государя императора. Вы знали, кто изготовлял снаряды? Вы знали, кто должен был их бросать? Учтите, у нас есть верные данные о вашем участии в этом злодеянии!

Ваше запирательство только усугубит вину, чего я вам лично не желал бы. Итак, я жду ответа!

— Напрасно, господин прокурор, потратите время.

— Вот как? Хорошо! — он открыл ящик стола, достал бумагу и положил ее перед Сашей. — Прочтите тогда это!

Саша пробежал глазами первые строки, и сердце его глухо застучало: Канчер — предатель! Подробно, унизительно-покаянно он выдавал полиции все, что знал. Как он пришел к нему, Ульянову, на квартиру и застал там его с Лукашевичем за набивкой бомб динамитом, как он потом отнес их с Волоховым к Генералову и Андреюшкину... Все эти и другие факты были изложены с такими подробностями, которые мог знать только осведомленный человек.

— Что вы теперь скажете? — злорадно, тоном победителя спросил Котляревский, подвигаясь к Саше и налегая на стол.

Саша, вернув протокол, спросил:

— Что вы мне дадите еще прочесть?

— Пока все.

— Благодарю вас.

— Господин Ульянов! — нервно подергивая всем лицом, начал Котляревский. — Вы вынуждаете меня напомнить вам, что у нас есть средства заставить вас говорить! Тех, кто отказывался давать нам показания, мы вздергивали на дыбу, вытягивали жилы, кормили селедкой и не давали пить...

— Не знаю, как на вас, господин прокурор, но на меня подобные страхи не производят — вы это видите — особого впечатления. Я предпочту остаться без жил, чем говорить то, что кому-то хочется от меня услышать.

Как ни бился, как ни грозил пытками Котляревский, стараясь вытянуть из Ульянова хоть какое-то признание, ничего у него не вышло. Он понял, что перед ним сильный противник, и изменил тактику. Он решил взять его лестью и обещаниями, что если он, Ульянов, чистосердечно расскажет все, то он избежит наказания, избавит от преследования многих людей. Котляревский прямо не сказал, но довольно прозрач-

но намекнул, что пострадает в первую голову вся его семья. Этим он ударил по самому больному месту Саши, но тот не дрогнул: и мама и Володя, как бы им ни было трудно, все смогут простить ему, но только не предательство.

За три с половиной часа допроса в протоколе появилась такая запись: «На предложенные мне вопросы о виновности моей в замысле на жизнь государя императора я в настоящее время давать ответы не могу, потому что чувствую себя нездоровым и прошу отложить допрос до следующего дня».

И все. Когда Ульянова увели, прокурор Котляревский сказал:

— Удивительное самообладание! По-моему, это вот и есть организатор всего дела. С таким умом и силой воли человек просто не может быть на вторых ролях.

Канчер и Горкун, а затем к ним присоединился и Волохов, называли все новые фамилии и адреса. Охранка кинулась разыскивать Новорусского, Говорухина, Шевырева. Директор департамента полиции Дурново шлет грозные шифрованные телеграммы в Ялту, Симферополь, Севастополь, Одессу. «Шевырева следует разыскать, — гласит телеграмма в Ялту, — во что бы то ни стало, для чего вы имеете действовать, не стесняясь средствами». В Симферополь он отправляет совсем уж истеричную шифровку: «Необходимо перевернуть вверх дном город и все местности, где может находиться Шевырев, и арестовать его».

Дни идут, а с мест, кроме запросов о приметах Шевырева и сообщений о безрезультатных поисках, ничего нет. Директор департамента полиции места себе не находит. Он строчит одну телеграмму за другой. Да и есть от чего волноваться. По показаниям Канчера, Шевырев — зачинщик и глава всего дела. Из Гатчино один за другим мчатся курьеры с запросами: арестован ли Шевырев. Царь боится нос показать из своего гатчинского дворца: он не уверен,

что все бомбисты арестованы. Дурново запрашивает о времени отплытия пароходов за границу, полагая, видимо, что Шевырев последовал примеру Говорухина. Он вызывает Канчера, грозит ему всяческими карами, требуя сознаться, куда же скрылся Шевырев. Канчер клянется, что он уехал не за границу, а в Крым.

— Куда? Куда именно? — стучит маленьким пухлым кулачком Дурново по столу. — Куда?

— Не знаю...

— Лжете!

— Ваше превосходительство... Клянусь жизнью, он мне сказал, что едет лечиться в Крым...

2

В столовой, куда зашел Лукашевич, уже знали, что Канчер арестован и на его квартире засада. Вечером 2 марта Лукашевич еще раз просмотрел все свои бумаги и лег спать. Но сон не шел к нему. Он понимал, что охранка может, распутывая клубок знакомств арестованных, забрать и его. О возможности предательства он не думал, а других веских улик против него полиция не могла выставить, и если она его арестует только по подозрению, рассчитывал он, то все равно выпустит. Кое-кто из знакомых советовал ему уехать за границу или же перейти на нелегальное положение. Паническое бегство при абсолютном незнании, грозит ли ему опасность, поставило бы его в очень тяжелое положение, если дело обернется так, что его фамилия не будет даже названа. Перейти на нелегальное положение он не мог из-за своего огромного роста: его бы опознал любой городовой.

В два часа ночи Лукашевича разбудил настойчивый звонок. Он понял: за ним пришли. Он подошел к двери и услышал смущенный голос дворника:

— Телеграмма...

Как только он открыл дверь, в комнату ввалилась ватага полицейских и понятых. Вытерев красное, вспотевшее лицо платком, пристав объявил, что ему

приказано сделать обыск. Наблюдая за тем, как полицейские шарят по квартире, Лукашевич заключил: обыск поверхностный. А это значит, что у полиции нет серьезных улик против него.

Порывшись в бумагах, пристав спросил:

— А где вы храните переписку?

— Я не люблю давать посторонним читать свои письма и потому уничтожаю их.

— Гм... А с чем эти банки? — осматривая химическую лабораторию, продолжал пристав.

— Это реагенты для химического анализа.

Заметив, что пристав начал откладывать в свой сундучок учебные книги, Лукашевич спросил, когда тот забрал «Историю материализма» Ланге:

— Что это значит? Ведь все эти книги разрешены цензурой.

— Видите ли, у меня есть секретное предписание, — понизив голос, сказал пристав, — забрать у вас все книги по химии, а поэтому я должен взять этого Ланге...

Обыск ничего не дал, но Лукашевича все-таки арестовали. Когда пришли в участок, пристав приказал одному околоточному:

— Насчет Белоусова скажите, что на Малой Итальянской в доме 51 такого артиста вовсе не оказалось.

Лукашевич насторожился: это был адрес квартиры, где недавно жил Новорусский. Как полиции стало известно и о его причастии к заговору? Ведь он оказал группе только одну услугу — позволил Ульянову на своей даче в Парголове изготовить динамит. Неужели и Ульянов арестован? И каким образом полиции удалось проследить эту связь? Ведь Новорусский, кандидат духовной семинарии, был вне всяких подозрений.

Из участка в сопровождении одного городового — это говорило тоже о том, что его аресту не придается особое значение, — Лукашевича повезли на улицу Гороховую, в охранное отделение.

Лукашевича несколько раз переводили из одного помещения в другое, на него никто не обращал вни-

мания. В одной небольшой комнате сидели жандармский офицер и чиновник. Перед чиновником лежала записная книжка, и он делал какие-то вычисления, расшифровывая, видимо, конспиративное письмо. В комнаты входили и выходили офицеры и чиновники. Молодой жандармский офицер рассказывал:

— Представьте себе, вот здесь, в этой комнате, Осипанов бросил бомбу. Никому из нас и в голову не пришло, что у него под мышкой снаряд. Мы думали, это простая книга. Вы понимаете, какой опасности мы все подвергались? Где те, что привели Осипанова сюда? — Когда в дверях появились два заспанных, помятых сыщика, он продолжал: — Моя жизнь подвергалась опасности при исполнении служебных обязанностей. За это мне положена награда. Вы оба должны давать согласные показания. Поняли?

— Так точно! — прохрипели в один голос сыщики.

Но храбрый офицер не успокоился на этом заверении. Он заставил сыщиков проделать все то, что они должны говорить на следствии. Когда один шпик сказал, что офицер сидел за столом в то время, как Осипанов бросил бомбу, тот обозвал его болваном и заставил всю репетицию проделать заново. На этот раз сыщики сказали, что он стоял рядом с упавшей бомбой, что она была всего на вершок от носка его сапога. Лукашевич смотрел на эту комедию и думал только об одном: почему же бомба не взорвалась? Неужели Осипанов забыл в спешке дернуть за шнурок? Нет, это не похоже на него! Он не из тех людей, что теряются. Если уж у него хватило духу бросить бомбу, то хватило выдержки и сделать это так, как надо.

Размышления Лукашевича прервал появившийся сам директор департамента Дурново. (Офицеры и чиновники вытянулись в струнку, завидев его, и подобострастно заулыбались.)

— Подумайте, что у вас было на квартире Ульянова, — выпалил Дурново и, не ожидая ответа, умчался.

Лукашевич не мог понять, на что он намекает. Мысли не допускал о том, что Канчер уже рассказал

все, а потому заключил: хозяин квартиры Ульяиова, видимо, слышал, как они резали жесть для сиарядов.

После этого прихода Дурново Лукашевича отвезли в Петропавловскую крепость, что зиачило: дело его получило серьезный оборот.

3

Царь не верил, что основиые заговорщики арестованы. Ои считал, что студеиты были только исполиителями, а руководили ими другие, более опытные люди. И пока они не арестованы, нет никакой гарантии, что завтра на улицу не выйдет новая группа с бомбами.

Заложив руки за спииу, царь иервно шагает по своему огромному кабинету гатчииского дворца. Его одутловатое, сплющенное, как у мопса, лицо мрачно хмурится, выпуклые, водянисто-пустые глаза иеподвижно уставились куда-то в одну точку, губы мстительно сжаты. Сколько лет он воюет с террористами и ие может извести их! Он был на волосок от той смерти, которая постигла отца! Ужасно! Оии и пули отравили стрихнином, так что смерть наступила бы от самой пустячной раны. Скоты! Эксперт генерал Федоров попробовал яд иа вкус и чуть не умер. И полиция поворачивается, словно ие живая! Почти месяц в Харькове узиавали адрес этого мерзавца! Шевырева до сих пор ие разыскали. А кто может поручиться, что отъезд его в Крым ие такой же трюк, как самоубийство удравшего за граиицу Говорухина? Вся эта сволочь пустила уже слух, что он сидит в Гатчиио и боится из дворца выйти. Так нет, ои покажет им!

Царь приказал иемедлеино закладывать экипаж.

«Вчера (третьего марта) был грандиозный раут у великого кн. Владимира, — записала в своем диевиике Арапова. — Так как государь ие любит все эти приемы, он был отложен иа третью неделю (поста), чтобы ои мог воздержаться от присутствия на ием, так что никто его не ожидал, тем более, что возвращаться в город представляло действительиую опас-

ность, пока этот обширный заговор не выяснен окончательно.

Я находилась в большом зале, в конце больших апартаментов, в ту минуту, когда этого меньше всего ожидали, появилась государыня под руку с великим кн. Владимиром, государь шел с ними со своей невесткой. Нечто вроде «ха» вырвалось у всех из груди, и мертвая тишина мгновенно заменила все самые оживленные разговоры. Немедленно образовался широкий проход, и они продефилировали по всем залам, ни для кого не останавливаясь, с явным намерением всем показаться.

Я вспоминаю, какие овации оказывали когда-то покойному императору каждый раз, когда провидение отводило от него пули негодяев, о чем я и сейчас не могу вспомнить без глубокого волнения. У всех присутствующих глаза были влажны, каждый стремился к нему прикоснуться и прижать свои губы к его руке или краю его одежды.

Теперь же ни одно «ура» не вырвалось из стесненных грудей, и это произвело на всех леденящее впечатление похоронной процессии.

...Государь решил появиться по двум причинам: во-первых, чтобы показать иностранцам, что они все живы и здоровы; во-вторых, чтобы никто не имел права высказать предположение, что страх удерживает его в Гатчине».

Но как ни старался выказать храбрость государь император, у него хватило духу только продефилировать по залам дворца: в эту же ночь он в сопровождении чуть ли не полка казаков умчался в свою гатчинскую крепость и засел там, точно в осаде. Он слишком высоко ценил свою августейшую особу, чтобы, рискуя жизнью, опровергать такой пустяк, как разговоры о том, что страх перед революционерами держит его в Гатчине.

4

В глазок камеры поминутно заглядывает часовой, но Саша не замечает этого. Он шагает из угла в угол и обдумывает, что теперь делать. Как дальше вести

себя? Вспомнилось, как он говорил Шевыреву: «Канчер не внушает доверия, его не нужно посвящать в дело», — но тот твердил свое: «Террористов так мало, что нужно пользоваться всяким случаем, нужно радоваться каждому желающему идти на это дело». Вот теперь и радуйся...

— Пища!

Саша оглядывается на голос. Квадратное окошко в двери открыто, в нем видна чья-то рука с кружкой, накрытой ломтем черного хлеба. Значит, уже утро. Саша берет кружку. В ней не чай, а холодная, пахнущая ржавчиной вода, хлеб пополам с какой-то мякиной, сырой, как тесто. Саша поставил этот завтрак на стол, принялся опять шагать. Нет, теперь отрицать все бесполезно. Придется признать то, что раскрыли Канчер и Горкун. Нужно взять на себя всю вину и спасти других. Ведь Новорусский, Шмидова, Ананьина не принимали никакого участия в деле. А между тем полиция, по оговору Канчера и Горкуна, считает Новорусского чуть ли не руководителем всего дела, а Ананьину — хозяйкой квартиры, где была динамитная лаборатория!

— Кружку!

Выплеснув в раковину «царский чай», Саша подал в окошко кружку, и оно тотчас же захлопнулось.

После нескольких бессонных ночей, проведенных Сашей в тяжких раздумьях, он, решив, как ему дальше вести себя, уснул точно убитый. Ему и снилось то, о чем он думал: Симбирск, встреча с мамой, с Володей. Радостные сборы в Кокушкино. И там — поход с отцом в лес, споры с ним, песни. Он не слышал, как открылась дверь камеры, как его будили. Саша проснулся, лишь когда его стянули с кровати, и долго не мог понять, где он, что с ним происходит. Он сообразил все только в то мгновение, когда его взяли под руки и поставили на ноги.

— Одеваться!

В окружении чуть ли не взвода конвоя он опять идет тем же темным коридором. Кто сидит в этой

вот камере? В этой? Карета стоит так близко к двери, что он не успевает глянуть по сторонам. На башне собора глухо ударили часы, и в памяти всплыл тот пасмурный день, когда они с Аней приходили сюда. Как он тогда позволил Шевыреву дать ее адрес Канчеру! После того как он столько времени оберегал ее от всего, что могло хоть какую-то тень бросить на нее, он допустил такую глупость. Тяжкий грех он взял на душу, что по совету того же Шевырева отправил с Канчером на квартиру Новорусского все то, что нужно было ему в Парголове для производства динамита. Да и вообще многое получилось глупо. И обиднее всего, что он понимал это, но не проявил твердости и не настоял на своем. Ему нужно было занимать во всех этих делах более твердую позицию. Нельзя было идти ни на какие компромиссы. И он имел на это право независимо от того, что не является главным руководителем.

Да, ошибки всегда, наверное, наиболее ярко видны в тот момент, когда их нельзя уже исправить...

4 марта Ульянов признает, что принадлежит к террористической фракции партии «Народная воля», что он принимал участие в заговоре против царя. Когда возник заговор — он отказывается назвать точную дату. Он не отрицает, что приготавливал азотную кислоту, белый динамит (не называя количества его), свинцовые пули. «Мне были, — пишет он, — доставлены два жестяные цилиндра для метательных снарядов, которые я набил динамитом и отравленными стрихнином пулями, так же мне доставленными; перед этим я приготовил два картонных футляра для снарядов и окленл их коленкоровыми чехлами... Собственно фактическое мое участие в выполнении замысла на жизнь государя императора этим и ограничивалось, но я знал, какие лица должны были совершить покушение, то есть бросать снаряды. Но сколько лиц должны были это сделать, кто эти лица, кто доставлял ко мне и кому я возвратил снаряды, кто вместе со мной набивал снаряды динамитом — я назвать и объяснить не желаю... Ни о каких лицах, а равно ни о называемых мне теперь Андреюшкине, Генералове,

Осипанове и Лукашевиче никаких объяснений в настоящее время давать не желаю».

И все, что прокурору Котляревскому удалось добиться от Ульянова. В этих показаниях Александра Ильича, как видно, абсолютно отсутствует ложь. Он признает только то, что неопровержимо доказано, но делает это так, чтобы никому не повредить. Говоря о том, что после набивки снарядов он их возвратил, Ульянов не называет фамилий даже предателей Канчера и Волохова, которые сами признались, что относили бомбы метальщикам.

На следующем допросе Александр Ильич говорит уже и о принципиальных мотивах своего участия в заговоре. «Я не был ни инициатором, ни организатором замысла на жизнь государя императора, — отвечает он, видимо, на вопрос следователя. — Мое интеллектуальное участие в этом деле ограничилось следующим: в течение этого учебного года, приблизительно не ранее второй половины ноября, я раза два или три имел разговоры с некоторыми из лиц, принявших впоследствии участие в том деле, по которому я... обвиняюсь. Разговоры эти касались ненормальности существующего общественного строя и тех возможных путей, которыми он может быть изменен к лучшему. Мое личное мнение, которого я держался в этих разговорах, было таково, что для того, чтобы достигнуть наших конечных экономических идеалов, что возможно только при достаточной зрелости общества, после продолжительной пропаганды и культурной работы, необходимо достичь предварительно известного минимума политической свободы, без которого невозможна сколько-нибудь продуктивная пропагаторская и просветительная деятельность. Единственное средство к этому я видел в террористической борьбе, которая, как я надеялся, вынудит правительство к некоторым уступкам в пользу наиболее ясно выраженных требований общества».

Далее он говорит, что эти разговоры имели влияние на других в том смысле, что «ускорили, быть может, их решение посвятить себя террористической деятельности».

Признает Александр Ильич в этих двух показаниях (а также и в последующих) только то, что не отрицают все арестованные. Так как Новорусский подтвердил факт его приезда в Парголово, то он тоже не отрицает этого, но подчеркивает: «Ни сущность этих опытов, ни их цели не были известны ни Новорусскому, ни акушерке Марии Ананьиной... О том, что я оставил нитроглицерин, я не сообщал ни Ананьиным, ни Новорусскому».

Прочитав показания Ульянова, царь заключил: «От него, я думаю, больше ничего не добьешься». И тут он оказался прав: на все новые вопросы следователя и прокурора Ульянов отказывался отвечать. «Лица, помогавшие в Вильно достать азотную кислоту, были мне известны, но я отказываюсь их назвать. Какое участие принимал Шевырев в выписке азотной кислоты из Вильно, я объяснить отказываюсь... В феврале этого года была составлена при моем участии программа террористической фракции партии «Народной воли»... Печатание первой части этой программы, которую я выдавал за опыт новой программы, объединяющей партии «Народной воли» и «социал-демократов», было начато мною после 15-го февраля... Сколько лиц и кто помогали мне печатать программу, я объяснить отказываюсь... В составлении этой программы участвовало несколько лиц, которых я назвать отказываюсь».

Ни одно новое лицо, ни один адрес, ни один факт, неизвестные следствию по показаниям других арестованных, не были названы Ульяновым. Все то, что знал он один, так и осталось тайной.

В последнем своем показании от 21—22 марта Александр Ильич говорит уже исключительно о политической стороне дела. Так как полиции не удалось найти ни одного экземпляра программы, то он по памяти восстанавливает ее. «Если в одном из прежних показаний, — в заключение пишет он, — я выразился, что я не был инициатором и организатором этого дела, то только потому, что в этом деле не было одного определенного инициатора и руководителя; но мне одному из первых, — продолжает он, беря тем са-

мым всю ответственность за подготовку покушения на себя, — принадлежит мысль образовать террористическую группу, и я принимал самое деятельное участие в ее организации, в смысле доставления денег, подыскания людей, квартир и прочее.

Что же касается до моего нравственного и интеллектуального участия в этом деле, то оно было полное, то есть все то, которое доставляли мне мои способности и сила моих знаний и убеждений».

Царь отчеркнул на полях этот абзац, написал с циничной иронией: «Эта откровенность даже трогательна!!!»

5

Весть об аресте студентов — участников заговора мгновенно разнеслась по университету. Образовалось два лагеря: одни одобряли действия террористов, другие осуждали. Университетское начальство во главе с ректором Андреевским перепугалось насмерть. Поползли слухи, что университет будет закрыт. Это угнетающе подействовало на пассивную, далекую от политики часть студенчества, заставив ее тоже принять сторону начальства. В аудиториях вспыхивали бурные споры, нередко кончавшиеся потасовками.

И вдруг 6 марта объявили прямо во время лекций: всем собраться в актовом зале, ректор будет произносить речь. Иван Ефимович Андреевский пользовался репутацией хитрого человека и ловкого дипломата. Был он маленьким ростом, суетливый, картавил и говорил всегда в приподнятом тоне, любуясь своим красноречием. Попытки студентов узнать, в чем же будет заключаться смысл его речи, ни к чему не привели.

Когда студенты пришли в зал, там уже сидели попечитель учебного округа, его заместитель, профессора, преподаватели. Меж рядов, воровато поглядывая, шмыгали шпики. По тому, как больше обычного суетился ректор Андреевский, как он заискивающе улыбался, нашептывая что-то попечителю, по тому, как все те, кто яро предавал анафеме арестованных, спешили занять первые ряды, сочувствующие заго-

ворщикам поняли: готовится что-то нехорошее. Они собрались спешно на галерке, чтобы в случае чего выразить свой протест.

Ректор Андреевский торопливо поднялся на кафедру, надел очки и, выждав пока утих гул в зале, начал с театральной аффектацией:

— Я собрал вас, милостивые государи, с тою целью, чтобы здесь, в вашей среде, найти хоть некоторое успокоение от того страшного горя, которое пало на наш университет. Я знаю, что оно давит на вас всех столь же тяжко, как и на меня...

С галерки донеслось громкое:

— Нет!

По залу прокатился не то удивленный, не то испуганный гул, и все обернулись в ту сторону, откуда послышался голос. Меж рядов зашмыгали шпики, направляясь к галерке.

— Я знаю, — продолжал ректор, не ожидая, пока установится тишина, — что в том, что буду говорить, я выражу только общую, всем нам одинаково принадлежащую мысль, выскажу общее нам чувство скорби и негодования...

— Нет! Ложь это! — крикнуло уже несколько голосов.

— Но в том-то общем, — повысив голос до крика, продолжал Андреевский, делая вид, что ничего не слышал, — одинаковом нашем настроении только и можно искать средства примирения с непримиримым и способы очищения и обеления опозоренного учреждения...

— Клевета! — крикнуло сразу несколько голосов. — Мы гордимся...

Поднялся невероятный шум. Шпики и их подпевалы, чтобы заглушить голоса протеста, принялись бурно аплодировать.

— Весь наш университет, вся коллегия профессоров и все студенты, — силясь перекричать голоса с галерки, вещал ректор, — все, как один человек, поднесем к священным стопам нашего венценосного покровителя государя императора согревающие нас чувства верноподданнической верности и любви...

— Не надо! Позор! — раздались с галерки голоса протеста, но они потонули в криках одобрения и аплодисментах приспешников университетского начальства. Однако галерка продолжала бушевать: оттуда раздался неистовый топот, крики: «Холопы! Проклятье вам! Слава борцам за свободу!..»

На галерку хлынули шпики, началась потасовка, и только после того, как оттуда выволокли всех, кто открыто и смело выражал протест, в зале установилась относительная тишина, и Андреевский прочел адрес:

— «Ваше Императорское Величество, Государь Всемилостивейший! Три злоумышленника, недавно сделавшись к великому несчастью...»

— К счастью! — опять крикнул кто-то.

— «...для С.-Петербургского университета его студентами, своим участием в адском замысле и преступном сообществе нанесли университету невыносимый позор. Тяжко, скорбно, безвыходно! И в эти горестные дни С.-Петербургский университет, в целом его составе...»

— Ложь! Ложь! — засвистели и закричали хором на галерке. — Ложь!

— «...все его профессора и студенты ищут для себя единственного утешения в милостивом, государь, дозволении повергнуть к священным стопам Вашего Императорского Величества чувства верноподданнической верности и горячей любви».

Последние слова ректора были покрыты аплодисментами и криками «ура» изо всех сил старавшихся шпиков, с галерки слышен был только свист. Присяжный писака «Правительственного вестника» ни словом не упоминает о криках протеста. Он так заключает свой отчет: «Речь ректора была прерываема продолжительными рукоплесканиями, а по окончании оной восторженные возгласы студентов довершились пением народного гимна, и громкое «ура» долго оглашало университетские стены».

Однако о том, как действительно была принята позорная, холопская речь Андреевского, стало известно всем. Арапова отмечает в своем дневнике: «Когда

Андреевский, действительно, заговаривал об адресе, два голоса крикнуло «не надо!» и раздался свист... Ректор имел сообразительность продолжать свою речь, не обращая внимания на эту грубую выходку, и студенты, оттеснив революционеров к дверям, порядком их помяли, так что один из них после этого даже заболел... В настоящее время, — продолжает в другой записи она, — хорошо осведомленные уверяют, что протестовало не такое меньшинство, что свистки были довольно многочисленны, что речь была прервана и что в течение семи минут был момент замешательства и ужасного волнения».

Узнал об этом протесте студентов во время речи Андреевского и царь. Он начертал на адресе резолюцию: «Благодарю С.-Петербургский университет и надеюсь, что на деле, а не на бумаге только он докажет свою преданность...»

Союз соединенного петербургского студенчества в ту же ночь выпустил листовку. В ней писалось с негодованием и гневом: «Вчера, 6 марта, С.-Петербургский университет был опозорен... Он холопски пополз вслед за своим ректором к стопам деспотизма и сложил у его ног свои лучшие знамена. Он забрызгал несмываемою грязью свои лучшие традиции, которые были его украшением, его силою...

Мы же, со своей стороны, спешим всем нашим товарищам заявить и всему русскому обществу, что мы не выражали своего согласия на поднесение адреса, что мы не отступались и не отступимся от наших традиций, освященных тысячами жертв, что всегда стремились и будем стремиться к воплощению правды в общественные формы, как мы ее понимаем, и всегда будем учиться находить, понимать и любить ее; что никогда мы не порицали и не будем порицать и оплевывать погибших борцов, наших товарищей по делу и братьев по сердцу, но преклонимся перед их нравственной высотой и будем учиться, как нужно любить и бороться...

Как жила, так и живет и вечно будет жить в петербургском студенчестве лучшая его часть, исповедующая искание правды и свободы в общественной

жизни, искреннее служение своим чистейшим убеждениям, умение страдать и умереть за них».

13 марта, то есть неделю спустя после речи Андреевского, директор департамента полиции Дурново в своем донесении министру внутренних дел Толстому, отмечает: «Студенты С.-Петербургского университета до сих пор еще не успокоились: вчера, например, в VII аудитории был побит вольнослушатель Чудинов, один из сочувствующих аресту. Чудинов будет завтра у меня для объяснений о лицах, его побивших. По секретным сведениям, предполагают побить окна у ректора. Видимый порядок в университете не нарушается. Предположено выслать 5 человек (2 русских и 3 еврея), участие коих во враждебных действиях более или менее установлено».

6

Письмо Вере Васильевне Кашкадамовой принесли перед уроком, и она не успела его прочесть. По почерку и адресу узнала: из Петербурга, от Марии Песковской.

Закончив урок, Вера Васильевна вскрыла письмо. Она быстро прочла первые строки и не поверила глазам своим. Что это она пишет? Саша и Аня арестованы, их обвиняют в подготовке покушения на государя... У Веры Васильевны так заколотилось сердце, что буквы поплыли перед глазами.

— Вера Васильевна, что с вами? — подбежала испуганная учительница. — Вам плохо?

— Нет... Ничего. Это сейчас пройдет.

Когда прозвенел звонок и все ушли, Вера Васильевна вновь достала письмо и прочла его. Песковская просила сказать об аресте Марии Александровне, предварительно подготовив ее. Принести такую весть доброй, славной Марии Александровне — нет, это свыше ее сил! Она еще не оправилась и от смерти мужа, а тут арест Ани и Саши, да за что — за участие в покушении! Арест старших детей, на которых она возлагала такие надежды. Еще вчера она говорила:

— Вот Саша скоро закончит курс, определится,

и мне легче будет. Давно только он что-то не писал. Боюсь, не заболел ли...

Господи, но что же делать? Совсем не сказать ведь тоже нельзя. Так или иначе, но она узнает об аресте. А, вот что, она поговорит с Володей, посоветуется с ним, как лучше подготовить к этому страшному известию Марию Александровну. Она послала за Володей в гимназию: там как раз кончались уроки. Володя прибежал веселый, радостный. Круглые щеки его румянились, карие глаза ярко искрились. Но, увидев опечаленную, заплаканную Веру Васильевну, он нахмурился, спросил с участием:

— Что с вами, Вера Васильевна?

— Володенька, успокойся...

— Да я совершенно спокоен.

— У вас... Вашу семью, — начала Вера Васильевна, совсем забыв те слова, которые она приготовила сказать ему, — постигло большое несчастье...

— С мамой что-то случилось? — испуганно воскликнул Володя и кинулся к двери.

— Нет-нет! — с трудом удержала его Вера Васильевна. — Саша и Аня... У меня язык просто не поворачивается... На вот, прочти...

Володя взял письмо, быстро пробежал его раз, второй, брови его сурово сдвинулись, глаза остро прищурились, губы твердо сжались, и весь он точно преобразился: это был уже не прежний шумный, жизнерадостный мальчик, а взрослый человек, глубоко задумавшийся над очень важным вопросом. И что было еще просто открытием для Веры Васильевны: Володя не выказал ни испуга, ни растерянности.

— А ведь дело-то серьезное, — после продолжительного, напряженного молчания сказал он, — может плохо кончиться для Саши.

Слова Володи поразили Веру Васильевну. Она никак не ожидала, что этот, как ей всегда казалось, бесшабашный мальчик так мужественно примет страшное известие и так трезво оценит значение его. Она слушала его и думала: «Бог мой, как он вырос!» А ему сказала:

— Володенька, я не знаю, как сказать об этом...

— Я сам маме скажу, — решительно заявил Володя.

— Хорошо, — обрадовалась Вера Васильевна, что он снял с нее эту тяжкую обязанность. — Но... Нужно, Володенька, как-то подготовить ее. Ты ей скажи, что я получила какое-то письмо... Да, да, скажи, что в письме том что-то есть о Саше и Ане, но не говори, в чем они обвиняются. А вечером я приду, и мы постараемся сообщить обо всем...

— Вера Васильевна, я никогда маме не лгал и лгать не буду, — твердо сказал Володя. — Дайте мне, пожалуйста, письмо, и я все скажу ей. Я уверен, что так будет...

— Нет-нет, письма я тебе не дам. Говори ей, что хочешь, но письма я не дам. Это письмо может убить ее!

— Вера Васильевна, вы плохо знаете маму!

— Возможно, — обиженно поджала губы Вера Васильевна. — Возможно. Но письма я тебе все-таки не дам. И очень прошу тебя: будь осторожней с мамой. Она еще не оправилась от смерти Ильи Николаевича, и эта новая страшная беда совсем может добить ее. А у нее на руках вся семья. Помни это, вся семья...

Володя понял, что уговаривать Веру Васильевну бесполезно, и, не став спорить с нею, ушел. День был солнечный, но холодный. Со стороны Свияги бил, обжигая лицо, колючий ветер. В другой раз Володя бы побежал, чтобы быстрее добраться домой. Тем более что улица здесь шла под гору и ноги сами просили ускорить шаг. Сегодня же он не торопился домой. И думал он не столько над тем, как сообщить маме об аресте Ани и Саши, а что посоветовать ей. Как можно помочь сестре и брату? Сидя здесь, в Симбирске, конечно, ничего сделать нельзя. А что можно предпринять там, в Петербурге? И вот каков, значит, Саша. А он еще прошлым летом, наблюдая, как Саша возится с червями, думал, что не выйдет из него революционера. Ему было и жаль брата, и в то же время он гордился тем, что Саша стал в ряды революционных борцов. Зачем он только примкнул к террористам? Ведь он же видел, что убийство Александ-

ра II ничего не дало. Сам говорил, что Маркс ему на многое открыл глаза. Впрочем, дело-то, может, еще обстоит и не так, как оно описано в письме.

Раздеваясь в прихожей, Володя слышал: в столовой стучит машинка. Это неутомимая мама шьет Мите рубашку. После смерти отца у нее как-то особенно много забот. Она ни минуты не сидит без дела. Володя старается во всем помогать ей, но случается как-то так, что она незаметно предупреждает все его намерения. А на все упреки его отвечает одно:

— У тебя скоро экзамены на аттестат...

Посидев у себя в комнате, Володя спустился вниз, подошел к матери, обнял ее за плечи. Такое проявление нежности случалось с ним редко, и мать, поняв, что у него сегодня какое-то необычное настроение, отложила шитье, повернулась к нему. Повернулась она к нему с ласковой улыбкой, но, глянув в его словно бы окаменевшее лицо, тревожно спросила:

— Что-то случилось?

— Да, мама. Я сейчас был у Веры Васильевны. Она получила из Петербурга письмо...

— Аня заболела?

— Нет, мама...

— Саша?

— И он здоров, но... Мама, Вера Васильевна просила не говорить тебе всю правду, но я не могу так сделать. Ты должна все знать. Аня и Саша арестованы.

— Арестованы?! За что?

— Если верить письму, то дело очень серьезное, — после паузы продолжал Володя, — они обвиняются в подготовке покушения на царя.

Мария Александровна не ахнула, не вскрикнула, только побледнела и чуть пошатнулась на стуле. Справившись с волнением, она встала, сурово спросила:

— Где письмо?

— Она не дала мне его.

Мария Александровна, не сказав ни слова, оделась и ушла. Вера Васильевна никак не ожидала ее прихода и, увидев ее, растерялась. Потом, поняв, что Во-

лодя все сказал, кинулась к ней со слезами, но Мария Александровна жестом остановила ее, глухо попросила:

— Дайте мне письмо.

Вера Васильевна дала ей письмо. Она несколько раз прочля его, твердо и спокойно сказала:

— Я сегодня уеду; навещайте, пожалуйста, без меня детей.

7

У Андреюшкина при обыске было найдено письмо. В нем химическими чернилами он писал: «Я не понял вашего письма, измочил его все в железе и в итоге получил нуль. Что это значит? Разобрали мое последнее письмо, которое получили от матери? О его содержании никому ни слова: молчите даже Раисе и Женьке, ибо они ничего не знают, не их ума дело. Если дело не удастся в течение этих трех дней (до 3 марта), то мы или отложим, или поедем за ним. Пишите на имя Анны Григорьевны для передачи Авдотье Федоровне. Пока прощайте, кое-что найдете, если догадаетесь, в любовной части письма. Сообщите адрес: тот потерял и забыл. Пишу через мать».

Кому это письмо было адресовано, Андреюшкин не говорил. Сердюкова же, не зная, что он арестован, послала ему 7 марта телеграмму такого содержания в ответ на предыдущее письмо: «Вы просили ничего не отвечать. С получением письма я прожила целую вечность. Да. Отвечайте. Комахина». Охранка разыскала названных в письме Раису Ульянко и Женьку Хлебникову, и те, по предъявлении им телеграммы, указали, что послала ее Сердюкова. Сердюкову немедленно арестовали и доставили в Петербург.

Аня сидела в Доме предварительного заключения. Условия там были более сносные, чем в Петропавловской крепости. Она научилась перестукиванию, но это тоже никаких сведений о ходе дела не давало.

Допрашивая ее о телеграмме из Вильно, прокурор Котляревский сказал:



Степан Волохов.



Иосиф Лукашевич.



Михаил
Новорусский.



Шлиссельбургская крепость Снимок 80-х годов

Здание старой тюрьмы в Шлиссельбурге, где осужденные по делу 1 марта сидели с 5 по 8 мая. Направо стена, подле которой они были казнены.

— А вы знаете, о чем была эта телеграмма?

— Нет, — чистосердечно ответила Аня.

Прокурор выдержал значительную паузу, изрек со скорбной торжественностью:

— В ней извещалось о присылке азотной кислоты, чтобы приготовить бомбы для покушения на государя императора. Вы теперь, — он подчеркнул это слово, — понимаете, каким орудием служили в руках брата? Какой ужасной опасности он подвергал вас?

Ане нечего было ответить: она вспомнила свое объяснение с Сашей по поводу этой телеграммы. Как же она тогда ничего не поняла? Ведь многое в поведении Саши, еще больше в поведении Шевырева и Говорухина было странным.

— Шевырев уехал в Крым, Говорухин скрылся за границу, а ваш брат остался бойцом на поле битвы, — продолжал Котляревский, — вот как обстоит дело. Его бросили все, и поэтому ваши откровенные, ваши правдивые показания будут для него единственной поддержкой...

— Но я еще раз говорю вам: я ничего не знаю...

Ане дважды разрешили писать Саше, желая этим, видимо, что-то выудить из нее. Из этого, конечно, ничего не вышло, и переписку запретили. В первом письме Аня писала, пораженная тем, с каким самоотвержением, стойкостью Саша шел на смертный бой за свои идеалы свободы и правды: «Лучше тебя, благороднее тебя нет человека на свете. Это не я одна скажу, не как сестра; это скажут все, кто знал тебя, солнышко мое ненаглядное!» Письмо это тюремщики сочли крамольным, и оно не было передано Саше. А какую бы оно радость доставило ему!

В первых числах марта на свидание с Никоновым пришла сестра. Целуясь с ним, шепнула:

— Ильич и Красавец арестованы.

Красавцем в семье Никоновых называли Лукашевича. Теперь сомнений не было: покушение провалилось, раз о смерти царя ничего не слышно, а два главных заговорщика арестованы. Никонов ночи не

спал, силясь разгадать причину провала. Первое предположение было: кто-то выдал. Но кто? Открыто ли и его участие в деле? Сознание, что он, будучи за решеткой, не может уйти от преследования, а должен сидеть и ждать участи своей, действовало угнетающе.

Однажды, когда Никонова вели на прогулку, навстречу ему попались два очень подозрительных типа. Поднимались они вверх по лестнице в сопровождении надзирателя. С виду были похожи на дворников. Поравнявшись с Никоновым, они уставились на него и провожали глазами, пока он и не скрылся. Сомнений не было: этих типов приводили для его опознания. Спустя несколько дней во дворе тюрьмы появился половой из кафе Андреева. В этом кафе Никонов встречался с Ульяновым, и полового, значит, тоже приводили для опознания. Сомнений не было: у охранки есть какие-то подозрения о его участии в заговоре. Лукашевич и Ульянов не могли его выдать. Значит, арестован еще кто-то. Но кто? Что полиции удалось узнать о нем?

В борьбе с таким неравным противником, как царское самодержавие, всегда приходилось ходить по острию ножа. Но одно дело ждать удара врага на воле, в разгар борьбы, и совсем другое — ждать его, будучи лишенным всякой возможности к сопротивлению и защите. В таком положении человека невольно охватывает удручающее чувство бессилия, а то и обреченности. Именно так чувствовал себя Никонов, ожидая, когда его притянут к делу, которое грозило самой тяжелой карой. Но этого не произошло: Ульянов и Лукашевич не выдали его.

8

Железной дороги до Симбирска не было. Чтобы уехать в Петербург, предстояло на лошадях добраться до Сызрани. Кроме того, что поездка была утомительной, она еще дорого и стоила. Тот, кто собирался ехать на станцию, принимался искать не только ямщика, но и попутчиков. Кинулся искать их и Володя. Но

по городу уже разнесся слух об аресте Ульяновых в Петербурге, и никто не хотел ехать вместе с матерью государственных преступников. Володя, вернувшись домой ни с чем, возмущенно говорил:

— Какая все это, оказывается, мерзкая и трусливая публика! Мне тошно смотреть было на них! Фарисеи! Я прошу тебя, мама, поезжай одна.

Попутчика больше не стали искать, и Мария Александровна уехала одна. Шел снег с дождем, дорога была разбита, возок тонул в зажорах, но она не замечала неудобств: мысли ее были заняты судьбой Ани и Саши. То ей казалось, что она не застанет детей в живых, то возникала надежда, что ей удастся спасти их. Быстрее! Быстрее бы только добраться туда!

Проводив мать, Володя остался главой дома. Он сразу почувствовал, как много забот легло на него. По городу ползли слухи один гнуснее другого, и обыватели, приближаясь к дому Ульяновых, переходили на другую сторону улицы и украдкой крестились — пронеси, господи! Да и как было им не креститься, если из уст в уста передавалось, что при обыске у Ульяновых полиция нашла целый склад бомб! Боясь попасть в списки неблагонадежных — слух был, что за домом все время следят шпики и записывают, кто туда ходит, — Ульяновых перестали посещать, казалось, и самые близкие друзья.

Вера Васильевна Кашкадамова была в числе тех немногих, кто не изменил Ульяновым в эти трудные дни. Она часто после отъезда Марии Александровны заходила в домик на Московской улице. Володя был суров и молчалив. Он все больше сидел в своей комнате и упорно занимался. Он аккуратно посещал гимназию, на уроках, как и всегда, оказывался подготовленным лучше всех. Злорадные расчеты тупоголовых сынков симбирской аристократии на то, что Владимир Ульянов слетит с места первого ученика, не оправдались. И они принялись донимать его злобными замечаниями о судьбе брата.

Не удерживались и многие учителя, чтобы не заметить с укоризной:

— Вот ведь какой у тебя брат-то. Мы ему медаль дали, а он вон что наделал.

Чаще всего Володя отмалчивался. Но когда у него совсем уж истощалось терпение, он спокойно уточнял:

— Золотую медаль брат получил за успехи в учебе. И, как помнят все, вы тогда говорили, что вполне заслуженно.

Когда Володя, закончив подготовку уроков, приходил к младшим сестрам и брату, он шутил, забавляя их; мастерил им игрушки, давал решать ребусы и шарады. Сам садился играть с ними в лото. И меньшие, очень скучавшие по матери, с отъездом которой дом совсем осиротел, всегда с нетерпением ждали прихода Володи. Игры были тем более интересны для них, что Володя не умел ничего делать ради формы, сам увлекался, входил в азарт. Да и его самого игры отвлекали от невеселых дум о судьбе брата и сестры.

Вера Васильевна несколько раз, оставшись с ним наедине, пыталась завести разговор о Саше, высказывая всевозможные предположения о том, какое ждет его наказание.

— Они ведь только с бомбами ходили, — говорила она то, что знала из маленькой газетной заметки, — они никакого вреда не сделали. Суд должен учесть это. Не так ли, Володенька?

— Не знаю, — коротко отвечал Володя, не желая заниматься пустым гаданьем, — наши суды наказывают так, как им велят.

— Ох, — вздыхала Вера Васильевна, — и как Саша решился на такой ужасный шаг. Он же был всегда рассудительным, серьезным. Нет-нет, у меня до сих не укладывается в голове, как он мог принять участие в таком ужасном деле. Ведь он слишком умен для того, чтобы не понимать, какому риску подвергает и себя и всю семью. Не так ли? Ну, что ж ты молчишь, Володя?

— Я уже говорил вам и еще раз повторю: значит, он должен был поступить так. — И, помолчав, заключил с твердой убежденностью: — Значит, он не мог поступить иначе.

9

Шевырева арестовали только 7 марта, а доставили из Ялты в Петербург 14-го числа. Несмотря на то, что его участие в заговоре было установлено показаниями Канчера и Горкуна, он все отрицал. Делал он это неубедительно, а иногда и просто неумно. Во время ареста у него отобрали склянку с цианистым кали. На вопрос, зачем ему понадобился яд, отвечал: для умерщвления насекомых, коллекцию которых он намеревался собирать. На первом допросе 14 марта он заявил: «Я не признаю себя виновным в каком бы то ни было участии в замысле на жизнь государя императора и о существовании такого замысла ничего не слышал и не знаю; к революционной партии я не принадлежу и революционных убеждений не разделяю».

Если это голое отрицание всех обвинений, выдвинутых против него, было его тактикой, то ему просто следовало отвечать на все вопросы: «нет», «не желаю называть», «отказываюсь», — как это делал Ульянов, а не стараться преподнести все в другом, невинном, а на самом деле наивном виде. Запирательством он не только оправдывал себя, а сгущал обвинения. Именно это голое отрицание и заставило жандармов признать Шевырева «действительным руководителем преступления».

В показаниях Шевырев много путал, у него явно не сходились концы с концами. Так, например, он признал факт, что передал Канчеру и Горкуну приглашение Говорухина (на самом деле он сам им предложил) принять участие в покушении, хотя этому и не сочувствовал. Когда же его спросили, почему он взялся передать, он сказал, что тогда не объяснял себе этого, а вообще, «по-видимому, это ненормальное явление...»

На первых допросах Лукашевич тоже отрицал все, но потом начал осторожно и очень продуманно признавать то, от чего никак нельзя было отречься.

Он видел, что Ульянов выгораживает его, что тот во многом его вину берет на себя. Тогда он и сам очень хитро и ловко начал прятаться за его спину. Уже 7 марта Лукашевич дал понять, что Ульянов привлек его к подготовке покушения.

В других показаниях он везде на первый план — именно в тех делах, в которых сам был инициатором, — выставляет Ульянова. «Мне было известно,— пишет он, — что Ульянов в течение масленицы выезжал из Петербурга... Целью этой поездки было приготовление нитроглицерина... Александр Ульянов хотел поспешить печатанием составленной в последнее время программы... и с этой целью просил меня указать квартиру...» *

О Шевыреве в показаниях Лукашевича тоже то и дело встречаются такие фразы: «Я передал Шевыреву... Шевырев мне сказал... Чтобы Шевырев ездил в Вильно, мне неизвестно, хотя вообще он вел такую жизнь, что о поездках его я мог и не знать... Я узнал от Петра Шевырева, что приготовление азотной кислоты идет в Петербурге довольно медленно... Шевырев просил меня найти в Вильно... Шевырев не говорил мне, от кого он все это может достать» **.

Из этих показаний Лукашевича следствию было ясно: Шевырев — один из руководителей группы. А так как Лукашевич в последнее время — особенно после отъезда Шевырева и Говорухина — почти устранился от всех работ, то настоящая роль его в деле была неизвестна Канчеру и Горкуну. Они видели его только у Ульянова за набивкой снарядов динамитом, что и вменили Лукашевичу как главную вину. Следствию так и не удалось установить, что Лукашевич изготовил бомбу в виде книги. Таким образом, он из активного участника заговора превратился в пособника. Его считали заблудившимся молодым человеком, чистосердечно признавшим свою вину и раскаявшимся в содеянном. В своих воспоминаниях он

* В воспоминаниях Лукашевич отмечает: «Мы торопились с печатанием программы».

** А в воспоминаниях читаем: «Я задумал выписать азотную кислоту, а также яды и двухствольный пистолет из Вильно».

говорит, что Ульянов шепнул на суде: «Если что-то нужно, говорите на меня». Ульянов мог это сделать, ибо даже прокурор Неклюдов признавал, что если Ульянов и грешит против истины, то только тем, что берет на себя и то, чего не делал. Но ведь Лукашевич начал говорить на него задолго до суда.

10

Начальнику петербургской охранки приказано было явиться в Гатчино со всеми агентами, участвовавшими в аресте заговорщиков. Царь изъявил желание видеть своих спасителей. Девять шпиков и два городовых в сопровождении полковника Секеринского прибыли в гатчинский дворец, где продолжал отсиживаться перепуганный насмерть император. Этим подонкам общества Александр III устроил поистине царский прием. Он представил их всей своей семье, надел каждому на шею по золотой медали «за усердие» на александровской ленте. Затем вновь обошел всех и вручил по тысяче рублей. Изрек:

— Поберегите меня и впредь...

Шпики, как их выдрессировали, хором ответили, что они рады стараться, что они не пожалеют жизней своих... Каково было умиление на этой встрече монарха со своими спасителями, говорит запись из дневника наследника престола:

«9 марта. Понедельник.

Весна настала, и прилетели жаворонки, и, действительно, день был теплый. Перед завтраком папа представлялись агенты тайной полиции, арестовавшие студентов 1 марта; они получили от папа медали и награды, молодцы!»

Главным тюремным надзирателем заключенных был сам царь. Он лично указывал, куда их сажать, как содержать. Ему немедленно отвозились все протоколы дознаний, и он скрупулезно, как и положено главному сыщику, прочитывал их, испещряя пометками на полях и резолюциями. Был этот рус-

ский самодержец человеком не только тупым и злобным, но и совершенно безграмотным. На одном из докладов начальника департамента полиции П. Дурново о нелегальной литературе он начертал: «Брошюры *при дерзкие*».

Ни одно показание не вызвало такого яростного гнева венценосного монарха и обилие пометок на полях, как программа террористической фракции партии «Народная воля», восстановленная Александром Ульяновым в камере крепости по памяти.

В заключение программы Александр Ильич излагал взгляды фракции на террор. «Историческое развитие русского общества приводит его передовую часть все к более и более усиливающемуся разладу с правительством. Разлад этот происходит от несоответствия политического строя русского государства с прогрессивными, народническими стремлениями лучшей части русского общества. («Действительно все это перлы России!!!» — замечает царь, не скупясь на восклицательные знаки.)

...Когда у интеллигенции была отнята возможность мирной борьбы за свои идеалы и закрыт доступ ко всякой форме оппозиционной деятельности, то она вынуждена была прибегнуть к форме борьбы, указанной правительством, т. е. к террору. («Ловко!» — отчеркнув этот абзац, пишет царь.)

...Реакция может усиливаться, а с нею и угнетенность большой части общества, но тем сильнее будет проявляться разлад правительства с лучшею и наиболее энергичною частью общества, все неизбежнее будут становиться террористические факты, а правительство будет оказываться в этой борьбе все более и более изолированным. Успех такой борьбы несомненен. («Самоуверенности много, отнять нельзя!» — замечает царь.) Правительство вынуждено будет искать поддержки у общества и уступит его наиболее ясно выраженным требованиям. Такими требованиями мы считаем: свободу мысли, свободу слова и участие народного представительства в управлении страной».

Дочитав до конца программу, царь, брызгая чернилами, пишет резолюцию: «Эта записка даже не

сумасшедшаго, а чистаго идеота». Именно так и начертал — «идеота». Потом кто-то дрожащей рукой поправил эту царственную ошибку.

С какой тупой злобой этот жестокий «мопс» относился к простому народу, говорит и его пометка на показаниях акушерки Ананьиной. «Я беспрестанно заботилась о том, чтобы приготовить сына в гимназию», — пишет она, объясняя, почему Ульянов был приглашен в Парголово в качестве учителя. Ананьина по паспорту числилась крестьянкой. Царь подчеркнул «в гимназию» красным карандашом, поставил три восклицательных знака, что выражало его крайнее негодование, написал: «Это-то и ужасно, мужик, а тоже лезет в гимназию!»

«Скот! Подлец! Негодяй! Идиот!» — вот язык пометок и резолюций самодержца.

Приехав в Петербург, Мария Александровна начала хлопотать о свидании с сыном. Она днями просиживала в приемных директора департамента полиции Дурново, министра внутренних дел, прокурора и других больших и маленьких чиновников. Ей обещали узнать, выяснить, доложить, навести справки... Совершенно отчаявшись чего-либо добиться от этих людей, Мария Александровна обращается с письмом к царю.

«...Директор департамента полиции, — пишет она, — еще 16 марта объявил мне, что дочь моя не скомпрометирована, так что тогда же предполагалось полное освобождение ея. Но затем мне объявили, что для более полного следствия дочь моя не может быть освобождена и отдана мне на поруки, о чем я просила, ввиду крайне слабого ея здоровья и убийственно вредного влияния на нее заключения в физическом и моральном отношении...

О сыне я ничего не знаю. Мне объявили, что он содержится в крепости, отказали в свидании с ним и сказали, что я должна считать его совершенно погибшим для себя... Я не знаю ни сущности обвинений, ни данных, на которых оно основано...»

Министр внутренних дел пишет конспиративно директору департамента полиции: «Нельзя ли воспользоваться разрешенным Государем Ульяновой свиданием с сыном, чтобы она уговорила его дать откровенные показания, в особенности о том, кто, кроме студентов, устроил все это дело. Мне кажется, это могло бы удаться если б подействовать поискуснее на мать». Вот какими соображениями руководствовался царь, милостиво разрешая свидание!

Дурново вызвал к себе Марию Александровну. Но как он ни хитрил, она поняла, чего он от нее хочет, и гневно спросила:

— Вы отдаете себе отчет в том, чего вы от меня требуете?

— Я делаю это с одной только целью: облегчить участь...

Мария Александровна, встав с кресла, смерила этого благодетеля таким уничтожающим, таким презрительным взглядом, что у него пропала охота вести дальше разговор. Он нажал кнопку и приказал появившемуся в дверях чиновнику:

— Оформите госпоже Ульяновой пропуск к сыну!



ГЛАВА ДЕСЯТАЯ

1

— Где организаторы заговора?

— Ваше императорское величество, мы...

— Молчите! — заложив руки за спину, царь прошелся из угла в угол, остановился возле маленького, виновато ссутулившегося графа Толстого, продолжал еще более разъяренно: — Я не верю, что все дело подготовили эти мальчишки! Вы взяли пешек! Исполнителей, а не руководителей! Вы заставили говорить только трех человек! В ваших бумагах я только и читаю: дознание продолжается без всяких открытий!

Но как монарх ни бушевал, как следователи ни усердствовали, им, кроме того, что раскрыли предатели-сигнальщики, ничего не удалось узнать. Следствие начало крутиться на холостом ходу, и царю ничего другого не оставалось, как приказать закончить его. Начинается обсуждение, какому суду передать дело, чтобы как можно быстрее покончить с ним. «Имея в виду, — пишет директор департамента полиции министру внутренних дел, — что наказание в обоих случаях, т. е. Сенатом или военным судом, будет постановлено одинаковое, вся разница в пользу военного суда сводится к возможности привести приговор в исполнение приблизительно десятью днями раньше... Двери заседания будут закрыты и там, и тут».

Перебрав еще многие «за» и «против», П. Дурново приходит к выводу, что лучше всего все-таки передать дело на рассмотрение в правительствующий сенат, так как «многие обвиняемые изобличаются не свидетельскими показаниями, а оговором своих соучастников, почему и допрос последних на суде будет иметь первенствующее значение». Тут же подчеркивается, что для этого требуется очень опытный председатель суда, который сумел бы вытянуть из обвиняемых все что только можно. А на первоприсутствующего сенатора Дейера в этом отношении вполне можно положиться.

Царь соглашается с доводами директора департамента полиции, и дело назначается к слушанию в сенате на 15 апреля. Однако судьба заключенных, как видно из этого документа департамента полиции («наказание в обоих случаях будет постановлено одинаковое»), уже решена. Задача суда сводится только к одному: выполнить волю его императорского величества.

2 апреля дверь камеры Саши распахнулась, и на пороге он увидел, кроме самого коменданта крепости, целую толпу чиновников и стражи. С торжественной важностью вся процессия зашла в ка-

меру. Оказалось, это пожаловал председатель суда сенатор Дейер. Задав несколько стандартных вопросов (фамилия, имя, отчество), он вручил обвинительный акт. Саша с жадностью принялся его читать. Ему хотелось узнать, что послужило поводом для ареста метальщиков, но этого там не было указано. С удивлением и огорчением он узнал, что Канчер завалил почти всех виленцев, что на скамью подсудимых попали люди, по сути дела, ни в чем не виноватые: Новорусский, Ананьина, Шмидова, Пашковский, Пилсудский, Сердюкова.

2

— Положение создалось страшно тяжелое,— говорил Песковский, муж племянницы Марии Александровны, когда она приехала в Петербург. — Первейшая и главная наша задача — найти хорошего защитника. Я рекомендую вам Пассавера Александра Яковлевича. Это умный и довольно смелый человек.

— Я во всем доверяю вам, Матвей Леонтьевич. У меня ведь нет здесь никаких знакомств, никаких связей.

— Ошибаетесь, Мария Александровна! Я установил: сам обер-прокурор Неклюдов учился у Ильи Николаевича!

— Да что вы?

— Да, да! И отзывается о нем до сих пор очень и очень лестно. Вам надо непременно сходить прямо к нему. Далее. Вы по Пензе должны знать некоего Таганцева.

— Кажется, припоминаю...

— Чудесно! Этот Таганцев ныне сенатор. Он на короткой ноге с сенатором Фуксом, который может разрешить, например, свидание. От него зависит и получение вами пропуска на суд. Но это все потом. Сейчас самое главное — защитник.

Песковский познакомил Марию Александровну с защитником. Пассавер произвел на нее не очень хорошее впечатление: болтливый, за каждым словом сквозит равнодушие ко всему на свете. Явно наби-

вая себе цену, он долго говорил о том, как много может сделать защита, если она с умом и знанием дела — и смелостью! — ринется в бой за своего подопечного. Мария Александровна, не имея выбора, согласилась доверить защиту Саши Пассаверу. Провожая ее на первое свидание с Сашей, Песковский наказывал:

— Итак, главное: вы должны убедить его взять этого защитника.

— Я буду говорить с ним...

— Мария Александровна, вы простите меня, но я, желая вам добра, позволю себе попросить вас: будьте настойчивее! Я знаю, как трудно в чем-то переубедить Александра Ильича...

На свиданиях родители и родственники арестованных вели себя по-разному: одни плакали, другие униженно заискивали перед каждой тюремной сошкой, пугливо озирались по сторонам, не чая, видимо, как оттуда побыстрее уйти. Мария Александровна вела себя с таким достоинством и суровой гордостью, что и тюремщики не могли не проникнуться уважением к ней. Они поражались ее выдержкой и внутренней собранностью. Ни лицом, ни голосом она не выдавала своей душевной боли, и только в карих глазах ее было выражение такого страдания, что все, кто встречался с нею взглядом, отводили глаза в сторону.

— Обождите здесь, — сказал надзиратель, открыв дверь в пустую камеру. — Сейчас его приведут.

Мария Александровна присела на голой койке, глубоко вздохнула, силясь унять до боли тревожно стучавшее сердце. Наконец-то она увидит своего Сашу! Увидит... Она так долго добивалась, так долго и мучительно ждала этой минуты, что ей начало казаться: от того, что она увидит его, поговорит с ним, многое изменится. Она не верила полиции, и в душе ее теплилась надежда, что вина его не так страшна, как ей говорят. Вот он! Мария Александровна встала, шагнула к двери. Нет, провели кого-то другого. Такой же молодой, как и Саша. Может, кто-то из его друзей?

Постояв у двери, Мария Александровна повернулась, чтобы пройти к кровати и присесть, как вдруг услышала тихий, глуховатый голос:

— Мама...

Сердце ее на мгновение замерло — она узнала бы этот голос среди тысячи других! — и вдруг так заколотилось, что перед глазами все поплыло. Невероятным усилием воли подавив волнение, она повернулась к двери и увидела юношу... очень похожего на ее Сашу. Да нет, это уже был и не юноша, а взрослый, много выстрадавший человек. Или арестантская одежда так изменила его? Человек слабо улыбнулся такой знакомой, бесконечно родной улыбкой, что у Марии Александровны невольно вырвалось:

— Саша! Сынок...

— Мама! Родная моя, — ласково говорит Саша, обнимая узкие худенькие плечи матери. — Я так хотел видеть тебя... Я так виноват перед тобой... Я столько горя причинил тебе... Прости меня...

— Полно, Сашенька, — улыбаясь сквозь слезы, говорила Мария Александровна, — полно... Я только не могу понять, как ты мог решиться на такое? Или тебя ложно обвиняют?

— Нет, мама, — сразу посуровев, сказал Саша.— Я принимал участие в покушении. Я и должен отвечать. И я готов к этому, — продолжал он с такой решимостью умереть, но твердо стоять на своем, что Марии Александровне стало страшно за него. — Я понимаю, что доставляю много страданий и тебе и Володе, об Ане я уже и не говорю: я непоправимо виноват перед нею! Я над этим много и мучительно думал. Но... я не мог поступить иначе. Кроме долга перед тобой, перед всей семьей у меня, мама, есть долг перед родиной. А родина моя стонет под таким игом деспотизма, что я, поверь мне, не мог оставаться равнодушным.

— Да, но эти средства так ужасны.

— Что же делать, мама, если других нет! Пойми ты только одно: не бороться я не мог. Я не мог равнодушно взирать на страдания народа: это выше моих сил!

— Саша, но как же другие?

— Не знаю. Они, видимо, как-то по-иному устроены А у меня все сердце истлело от боли. Мне эта ужасная, рабская жизнь стала в тягость! Я, мама, тупел от необходимости постоянно следить за каждой своей мыслью, за каждым искренним, непроизвольным движением души. Зачем же мне дан ум, совесть, зачем мне дана способность отличать добро от зла, правду от лжи, если мне не дано права жить так, как я считаю нужным и справедливым? Нет, мама, я на что угодно согласен, только не на это!

— Время истекает! — напомнил надзиратель.

— Еще одну минуту, — взмолилась Мария Александровна, вспомнив, что о главном она еще и не договорила, — Сашенька, Матвей Леонтьевич нашел хорошего адвоката... Он настоятельно советует тебе взять его защитником. Запомни его фамилию...

— Мама, я благодарен Матвею Леонтьевичу за участие, но... я не могу воспользоваться его предложением.

— Почему же? Тебе советуют другого человека?

— Нет. Дело в том... Я вообще отказываюсь от защитника.

— Саша! — вскрикнула пораженная Мария Александровна. — Не делай этого! Это может погубить тебя.

Саше очень хотелось сказать, что судьба его, как и всех других участников заговора, давно уже предрешена и комедия суда ничего изменить не может, но ему не хотелось заранее расстраивать мать: ей предстоит много еще испытаний выдержать, а это только подорвет силы. Он сказал:

— Лучше меня, мама, никто не знает, что определяло мои поступки. А раз так, то, значит, один я смогу наиболее вразумительно и рассказать об этом. Есть и другая сторона дела: отказ от защитника даст мне возможность изложить те идейные мотивы, которыми мы руководствовались...

— Время кончилось! Прошу, сударыня!..

Так Мария Александровна и ушла, не уговорив Сашу взять защитника.

Песковский, узнав об этом, раздраженно сказал:

— Это безумие! Он, поверьте мне, сам себе надевает петлю на шею!

— Но что же делать? Я очень просила его...

— А следовало потребовать! Да, да, потребовать! Нет, я просто ума не приложу: что с ним случилось? В своем ли он рассудке? Ведь он же не может не понимать, как пагубно его поступки отразятся на всей семье. На всех родственниках!

— Он понимает это.

— И что же? — Мария Александровна только вздохнула в ответ. — Нет, — продолжал Песковский, — мне самому нужно поговорить с ним. Я сегодня же подам заявление...

Матвей Песковский просто не в состоянии был понять, как человек, попав, по сути дела, в петлю, не делает все возможное для того, чтобы выбраться из нее. И вообще как он мог отважиться на такой безумный поступок? При любом исходе дела он шел на явную гибель! Зачем? Ради чего? Ведь его ждала карьера ученого. Со своим умом, со своим талантом, со своей феноменальной трудоспособностью он стал бы всему миру известным ученым. Нет, с ним что-то неладное стряслось...

«Зная прошлое Ульянова, — пишет в своем заявлении в департамент полиции Песковский, — трудно не заподозрить нормальность умственных его способностей — так резка несообразность в том, чем был Ульянов и чем он оказался по делу 1 марта. Человек может скрытничать, притворяться, но быть окончательно не самим собой — это уж слишком непонятно». Да, для Песковского, человека глубоко мещанского склада, совершенно равнодушного к судьбе обездоленного народа, поведение Александра Ильича было загадкой.

8

— Встать! Суд идет!

Немногочисленная публика, состоящая из высокопоставленных чиновников, и подсудимые встали со

своих мест; одна из боковых дверей распахнулась, и к столу председателя гуськом потянулись, соблюдая ранги, судьи. Впереди — первоприсутствующий сенатор Дейер; члены суда, сенаторы: Лего, Бартенев, Янг и Окулов; сословные представители: тамбовский губернский предводитель дворянства Кондоиди, петербургский уездный предводитель дворянства Зейферт, московский городской голова Алексеев и котельский волостной старшина Егор Васильев; обер-прокурор Неклюдов, товарищ обер-прокурора Смирнов и обер-секретарь сената Ходнев.

За столом экспертизы — генерал-майор Федоров, неизменный эксперт почти на всех процессах террористов. Торопливо проходят к своим местам защитники. По одному их унылому, равнодушному виду легко заключить: пришли они отбывать служебную повинность.

Проверив списки свидетелей, Дейер предлагает подсудимым встать и принимается читать обвинительный акт. Читает он нудным голосом, сбивается. Все подсудимые знакомы уже с обвинительным актом, и никто его не слушает, пользуясь случаем, они тихо переговариваются. Дейер строго косится на них поверх очков.

Все обвинение было построено на показаниях Канчера и Горкуна. Слушая плоды трусости своей и малодушия, предатели — им никто не подал руки, когда встретились в зале суда, — стояли, опустив головы, боясь взглянуть в глаза товарищам. Высокий, плечистый детина Горкун был весь какой-то потрепанный: спутанные волосы свисали на лоб, ворот расстегнут, лицо жалко сморщенное. Стоял точно в воду опущенный и Канчер, повесив тонкий длинный нос. Продолговатое, с мелкими чертами лицо его горело, он то и дело вытирал рукавом испарину со лба.

— Добре потрудились, — громко заметил Генералов, когда председатель закончил чтение всего того, что показали Горкун и Канчер.

— «На основании изложенных обстоятельств, — гнусаво вещал Дейер, — установленных дознанием,

обвиняются поименованные выше: 1) Василий Осипанов, Пахомий Андреюшкин, Василий Генералов, Михаил Канчер, Петр Горкун, Степан Волохов, Петр Шевырев, Александр Ульянов, Иосиф Лукашевич, Михаил Новорусский, Мария Ананьина, Раиса Шмидова, Бронислав Пилсудский и Тит Пашковский — в том, что, принадлежа к преступному сообществу, именующему себя террористической фракцией партии «Народной воли», и действуя для достижения его целей, согласились между собой посягнуть на жизнь священной особы государя императора и для приведения сего злоумышления в исполнение изготовили разрывные метательные снаряды, вооружившись которыми некоторые из соучастников, с целью бросить означенные снаряды под экипаж государя императора, неоднократно выходили на Невский проспект, где, не успев привести злодеяние в исполнение, были задержаны 1 марта сего 1887 года, и 2) Анна Сердюкова — в том, что узнав о задуманном посягательстве на жизнь священной особы государя императора от одного из участников злоумышления и имея возможность заблаговременно довести о сем до сведения власти, не исполнила этой обязанности...»

— Фу-у... — вздохнул Генералов. — Ему бы покойников отпевать.

— Господин судебный пристав! Потрудитесь удалить подсудимых! — приказал Дейер, закончив чтение обвинительного акта.

Первым Дейер вызвал Канчера. Канчер, увидев, что товарищей нет, приободрился. В подобострастной позе его — он стоял не мигая, чуть приподнявшись даже на цыпочках, — в покаянном выражении лица была готовность продать всех, только бы спасти свою шкуру. Генерал Федоров, глянув на него, потер кулаком бороду и сердито откашлялся, точно хотел сказать: стыдно, молодой человек! Признание признанием, но себя-то нужно хоть немного уважать.

— Канчер, вас обвиняют в том, — строго хмурясь, начал Дейер, — что вы принадлежите к тайному обществу, которое имеет целью ниспровергнуть сущест-

вующий общественный строй, и для достижения этой цели вместе с другими лицами покусились на жизнь священной особы государя императора. Признаете себя в этом виновным?

— Признаю, — прерывающимся голосом ответил Канчер и взмолился: — Но я прошу милостиво выслушать, при каких обстоятельствах я попал совершенно случайно в это общество...

— Прежде нежели рассказывать об этих обстоятельствах, — остановил его Дейер, — я предложу несколько вопросов... Отец ваш надворный советник?

— Да.

— Следовательно, он состоит на службе?

— Да, почтмейстером... Причину, почему я сделался таким тяжким преступником, — не ожидая вопроса председателя, спешит с объяснением Канчер, — я нахожу в действительности, что это есть Шевырев... Зная, какое мне будет наказание, я считаю своею священною обязанностью высказать правду... — Торопливо, боясь, что его остановят, он рассказывает о поездке в Вильно, о том, как Шевырев принудил его стать сигнальщиком. — Я был в таком положении, что если я не соглашусь, — продолжал он со слезой в голосе, — значит меня сочтут за шпиона, это будет известно между студентами, все будут бегать и так смотреть на меня... Тут мою душу покоробило, и хотя я отказался, но не наотрез, именно благодаря своему характеру и еще потому, что я был уже увлечен, опутан... Я отправился на Невский, но, чувствуя, что в этот день, 1 марта, день, в который, как мне казалось, государь должен был выехать, я уклонился и пошел к Николаевскому вокзалу, и потом, когда шел назад, то был задержан.

— Значит, — остановил Дейер Канчера, — сказали Шевыреву, что никаким целям общества не сочувствуете?

— Я сказал, что таких убеждений не разделяю, — с готовностью подтвердил Канчер, не заметив ловушки.

— Каких же убеждений, — с ехидцей спрашивает Дейер, — когда вы их еще не знали?

— Да как же идти убивать государя?.. — лепечет Канчер, поняв, что перестарался.

— Но ведь это только голый факт, который находится в связи с убеждениями Шевырева? — продолжает допытывать растерянно потупившегося Канчера Дейер. — Как же вы могли сказать, что не разделяете его убеждений, когда вы их не знаете?

— Когда он сделал мне такое предложение принять роль разведчика, то, очевидно, у меня выходила мысль, что я имею дело с человеком, который причастен к тайному обществу или к чему-нибудь нелегальному, а, конечно, всякий из русских знает, что есть такие общества, — делает он неуклюжую попытку выпутаться из ловушки.

— Но если вы обнаружили это из его предложения, — продолжает Дейер, хитро щурясь, — то что же не сказали ему, что вы ошиблись в нем, что он делает несвойственные с вашими понятиями предложения?

— Он торопился и не дал мне высказаться... — после продолжительной паузы еле слышно промямлил Канчер. — Он меня запутал и узнал мой характер, что я не склонен пойти и донести...

Канчеру, этому мелко-тщеславному сыну почтмейстера, нравилась поза героя, страдающего за народ. И пока опасность была далека, тщеславие заглушало страх. Но как только впереди вместо гранитного пьедестала он увидел петлю виселицы, он забыл обо всем, кроме одного: спастись. Теперь уж он не боялся не только роли шпиона, но и прямого предателя!

4

Остановившись у стола, Александр Ильич спокойно, в упор посмотрел Дейеру в глаза. Тот, не выдержав его взгляда, глянул в бумаги и, листая их, спросил, признает ли он себя виновным. Александр Ильич спокойно ответил:

— Да, я себя признаю виновным.

Дейер оторвался от бумаг с намерением что-то спросить, но встретил устремленные на него черные,

глубокие глаза, полные гордого спокойствия и сознания правоты своей, снял очки, протер их и, забыв задать традиционные вопросы, сказал, как бы уточняя известное ему:

— Вы были в Петербургском университете?

— Да, был.

— Уже на четвертом курсе?

— Да.

— Несмотря на ваши молодые годы?

— Да, я был на четвертом курсе, — с ударением на слове «четвертом» ответил Александр Ильич, продолжая все так же в упор смотреть на Дейера.

— Значит, вы в Петербурге уже четыре года?

— Да.

— Что же вы, все четыре года старались навербовать себе сообщников или первые годы провели в учении?

— Я все четыре года, — выдержав паузу, не сказал, а отчеканил Александр Ильич, — занимался теми науками, для которых поступил в университет...

— Почему Говорухин уехал?

— Вследствие того, что был причастен к этому делу.

— Ведь и вы были причастны, но, однако же, не уехали за границу?

— Это уже дело его.

— Какое же было основание вам и другим лицам, принимавшим в этом участие, здесь оставаться, а ему уехать?

Александр Ильич нахмурился и ничего не ответил. Дейер продолжал:

— Как же вы позволили ему уехать? Ведь он был вашим соучастником? Он оставлял вас здесь, а сам спасался?

— Он нас не оставлял, — тоном, каким втолковывают тупому человеку элементарную истину, отвечал Александр Ильич, — мы оставались сами.

Члены суда возмущенно задвигались. Дейер потянулся рукой к колокольчику и отдернул ее, точно за горячее схватился. Александр Ильич еле приметно улыбнулся.

Лукашевич и Шевырев, узнав, что Говорухин благополучно скрылся за границу, многое валили на него. Александр Ильич не прибег ко лжи ни разу. Дейер спрашивает его:

— Вы видели образцы подобных метательных снарядов? Как вы научились их делать?

— Мне одно лицо давало указание.

— Это Говорухин? — быстро подсказывает Дейер.

— Нет, — отвечает Александр Ильич.

Дейер, видимо, для того, чтобы усыпить бдительность Ульянова, задает два ничего не значащих вопроса: были ли Говорухин и Шевырев с ним на одном факультете, — и опять круто возвращает разговор к прерванной теме:

— Лицо, которое давало вам указание, практиковалось в изготовлении таких снарядов?

— Не знаю, — отвечает Александр Ильич и, помолчав, добавляет: — Но вообще я считал его за человека, умеющего производить химические операции.

Так председателю суда и не удалось узнать, что изготовлением снарялов занимался Лукашевич. «Я послал этого человека», «Мне давало указания одно лицо», а кто именно, Александр Ильич отказывался называть. Весь его поединок с председателем суда и прокурором (Неклюдов тоже задавал вопросы, пытаясь сбить и запутать его, но ничего из этого не вышло) поражает необыкновенной твердостью, смелостью и искренностью. Директор департамента полиции П. Дурново в донесении министру внутренних дел пишет, что Ульянов давал показания, «сохраняя свое обычное спокойствие».

В другом донесении П. Дурново пишет: «Подсудимый Ульянов, не имеющий защитника, предлагал эксперту вопросы, свидетельствующие о его солидных познаниях в химии, причем все вопросы Ульянова клонились к желанию доказать, что Новорусский и Ананьина не могли «по запаху» обратить внимание на его работы по приготовлению нитроглицерина; эксперт утверждал, что приготовление нитроглицерина сопровождается запахом, которого нельзя не

заметить; наоборот, Ульянов старался убедить генерала Федорова, что избранный им особый способ приготовления нитроглицерина почти совсем не вызывает запаха».

Дурново, видимо спасая честь мундира генерала Федорова, изложил поединок Александра Ильича с экспертом не совсем точно. Вот этот короткий разговор:

— Вы говорите, что приготовление нитроглицерина сопровождается сильным удушливым запахом? Но это относится лишь к некоторым способам, а не ко всем; при том способе, каким я приготовлял, запаха вовсе не будет.

— Все-таки запах будет. Есть, впрочем, способ, — отступает генерал после того, как Александр Ильич перечислил несколько формул приготовления нитроглицерина, — при котором не бывает запаха...

В разговор включается прокурор, желая спасти положение.

— Нельзя ли определить, каким способом был выработан нитроглицерин в данном случае? — спрашивает он.

— Этого нельзя сказать, — после заминки отвечает генерал.

Александр Ильич, таким образом, добился поставленной цели: доказал, что Ананьина и Новорусский не могли по запаху определить, что он занимается приготовлением нитроглицерина. Уличил он во лжи и парголовского урядника Беланова, который по подсказке охранки вдруг начал утверждать на суде (на следствии он этого не говорил), с трудом выговаривая мудреное слово «химия», будто Ананьина сказала ему, что учитель Ульянов дает ее сыну уроки химии.

— Не употребляла ли она выражения, — спрашивает Александр Ильич, — что он «занимается» химией?

— Вот это могло быть, что «занимается», — отвечает урядник, явно не понимая, какая разница между «занимается» химией и «дает уроки», — но я понял, что он занимается с сыном.

— Вы не утверждаете, было ли сказано «занимается», — настаивает Александр Ильич, — или «дает уроки»?

— Этого не могу сказать, — растерянно признается Беланов, снимая тем самым еще одно обвинение против Ананьиной.

5

— Свидетель Чеботарев! К присяге!

Переступив порог зала суда, Чеботарев глянул в сторону подсудимых. Александр Ильич сидел на левом краю передней скамейки, высоко подняв курчавую голову. В позе его не чувствовалось никакого напряжения, и казалось: он сидит не на скамье подсудимых, а в аудитории и внимательно слушает лекцию. Генералов наклонился и что-то шепнул ему, он в ответ еле приметно кивнул головой; Шевырев беспокойно оглянулся и заерзал на скамейке. Лукашевич — он был на голову выше всех — задвигал плечами, еще больше ссутулясь: он, видимо, очень неловко чувствовал себя от того, что высоким ростом постоянно обращал на себя внимание, оказываясь тем самым как бы в центре группы. Шмидова привычным жестом поправила пышную прическу и вся как-то подобралась, насторожилась.

Дейер, устало помигивая глубоко запавшими глазами, посмотрел на Чеботарева, на скамью подсудимых и, пододвинув зачем-то поближе звонок, начал задавать вопросы. На его широком рыхлом лице с обвисшими щеками отражалось сонливое равнодушие.

— Что вам известно об общей вашей жизни с Ульяновым?

— Осенью прошлого года мы решили поселиться вместе, потому что находили для себя более удобным жить на отдельной квартире. Мы и раньше были знакомы, — помолчав, добавил Чеботарев, так как Дейер, помигивая, смотрел и ждал, что он еще скажет, — поселились вместе, кажется, в октябре или сентябре и жили до половины января.

Наступило продолжительное молчание. Дейер нахмурился: он не получил ответа на свой вопрос. Чеботарев, уловив момент, когда Дейер наклонился к бумагам, кинул быстрый взгляд на Александра Ильича. Тот прикрыл глаза: так, мол, и держись. Старый, хитрый, как лиса, Дейер тоже глянул на Ульянова, но у Александра Ильича даже мускул не дрогнул на лице.

— Вам известны были посетители Ульянова? — строго и даже с оттенком угрозы в голосе спросил Дейер.

— Я лично знаком с Шевыревым и Шмидовой.

Опять наступила продолжительная пауза. Дейер откашлялся, грозно нахмурился, вытер платком слезящиеся глаза, продолжал, с трудом сдерживая раздражение:

— А больше никого не знали?

— Видел два раза Лукашевича.

От этого вытягивания ответов истощилось терпение Дейера. Он схватил звонок, стукнул им по столу, крикнул:

— Осипанова, Генералова, Андреюшкина, Канчера?

Генералов все время шептался с Осипановым, видимо комментируя поведение Дейера, так как Осипанов с трудом сдерживал улыбку. Услышав свою фамилию, он глянул на Чеботарева, потом перевел глаза на Дейера и быстро замигал, передразнивая грозного председателя. Дейер, заметив это, потянулся к колокольчику, но, поняв, что повода к замечанию нет, оттолкнул его так, что тот чуть не слетел со стола. Чеботарев выдавил:

— Генералова лицо мне знакомо...

— А Шевырев часто бывал у Ульянова?

— Нет, очень редко.

Александр Ильич, воспользовавшись заминкой, встал и попросил разрешения задать вопрос Чеботареву. Дейер настороженно выпрямился, глянул на членов суда, как бы обращаясь за помощью к ним. Александр Ильич следил за ним с таким спокойно-сосредоточенным видом, что тот не мог ему отказать,

— Видели ли вы у меня Новорусского и Ананьину? — повернувшись к Чеботареву, спросил Александр Ильич.

Чеботарев понял: Александр Ильич хочет выгородить Новорусского и Ананьину — и поспешно ответил:

— Никогда, положительно!

— Как же вы утверждаете, что Новорусский никогда не бывал, не зная его в лицо? — с ехидной улыбочкой спросил Неклюдов. — Где он сидит?

— Третьим.

— Почему вы его знаете? — быстро продолжал Неклюдов: он уже радовался, что поймал Чеботарева на лжи.

— Его показывали мне свидетели.

— Кто же это показывал? — грозно спросил Дейер, окидывая взглядом зал.

— Пристав Сакс.

Поняв, что от Чеботарева не только ничего не добьешься, а он может своими показаниями только выгородить подсудимых, Дейер велел ему сесть.

Чеботарев слушал Александра Ильича и поражался тому, как продуманны и точны его вопросы. И что самое удивительное: ни один из них не был направлен на то, чтобы снять в чем-то вину с себя. Он заботился только о других. Спокойствие, гордое чувство собственного достоинства и смелость ободряюще действовали на его товарищей. Когда он говорил, они с каким-то особым вниманием слушали и выше поднимали головы.

6

Свидетелями обвинения выступали агенты охранки, околоточные надзиратели, городовые, дворники. Всех их муштровали, что надо говорить, но толку от этого было мало. Верные слуги царевы так путались и сбивались, что Ульянов, Андреюшкин, Генералов и другие подсудимые нередко ставили их в тупик своими вопросами. Многие свидетели просто уклонялись от ответов на вопросы.

— Бывала Шмидова у Ульянова? — спрашивает прокурор Неклюдов дворника Матюхина.

— Бывала, — с трудом выдавливает тот.

— Сколько же раз, припомните хорошенько, — требует Неклюдов, видя, что Матюхин без особого рвения «припоминает», — и с кем она приходила?

Матюхин мнет фуражку, переступает с ноги на ногу, поднимает глаза к потолку и, наконец, говорит со вздохом:

— Не могу припомнить.

Прокурор досадливо морщится, что-то быстро записывает в свои талмуды, а Матюхин, виновато опустив лохматую голову, двигает плечом так, точно у него меж лопаток чешется. Допрос опять продолжает Дейер. Звякнув колокольчиком — Матюхин вскинул голову и, не мигая, уставился на него, — строго спрашивает:

— Кто еще бывал у Ульянова?

— Этого не могу знать.

Хозяин квартиры саксонский подданный Пауль-Гуго-Арно Флюгель на вопрос, кто ходил к Ульянову, отвечает, коверкая слова:

— Один молодой девушк; кажитца, его знаком, но наверной сказайт не могу.

— Которая, как ее фамилия? — допытывался Дейер.

— Не знайт я...

— Чем занимался Ульянов, когда жил у вас?

— Не знайт, — повторяет он.

После некоторого замешательства задает вопрос прокурор Неклюдов:

— Я бы просил с точностью указать, которая ходила к Ульянову?

Пауль-Гуго-Арно поворачивается к скамье подсудимых, окидывает всех взглядом, говорит:

— Сердюков.

— Хо-хо-хо, — схватившись за голову, громко рассмеялся Генералов, — попал пальцем в небо!

— Генералов! — затрещав колокольчиком, крикнул Дейер. — Я вам делаю второе замечание! Еще раз позволите себе подобную выходку, и прикажу

удалить из зала заседания! Свидетель! Вполне ли вы уверены, что к Ульянову приходила Сердюкова?

— Я не мог утверждайт это.

Другие свидетели тоже не очень-то радовали председателя. Вот он спрашивает крестьянина Курникова, отвозившего Ананьину в город: знает ли он в лицо того молодого человека, который ехал вместе с акушеркой?

— Черноватый, — неопределенно отвечает Курников.

— Нет ли его тут?

— Не могу знать.

— Посмотрите! — кричит вышедший из терпения Дейер. — Как же вы говорите, не посмотревши!

Курников испуганно поворачивается к подсудимым, долго, с открытым состраданием смотрит на них, выдавливает с тяжким вздохом:

— Не могу, ваше превосходительство...

— А этого признаете? — указывает пальцем Дейер на Ульянова.

Александр Ильич встает, встречается взглядом с Курниковым. Саша видит, что Курников узнал его. И судьи и подсудимые — все настороженно замирают. Курников опускает голову, отвечает:

— Не могу, он был закрыт воротником.

— В какой одежде он был?

— Вроде тулупчика, — тянет, морща лоб и как бы с трудом припоминая, Курников, — шапка вроде барашковой.

— В руках ничего не было?

— Не мог заметить... ни к чему.

— Не слышали, о чем они говорили?

— Ничего не слышал их разговора... Я, как крест и евангелие целовал, должен сказать истинную правду...

7

Следствие закончено. Председатель Дейер облегченно вздыхает и объявляет перерыв. По возобновлении заседания слово предоставляется обер-прокурору Неклюдову.

— Господа сенаторы! Господа сословные представители! — выждав абсолютной тишины, тихо начинает Неклюдов. — В течение этих дней вы были сами свидетелями слез и смущения некоторых из подсудимых. Что же мог бы я прибавить к этому моим обвинительным словом? — он помолчал и, обращаясь к залу, скорбно закончил: — Разве указать на смущение и слезы самой России! Доказывать тяжесть настоящего злодеяния, — повышая голос, продолжал он, — этого второго первого марта, значило бы только умалять его ужас. То, что не только в сознании, но и в сердце стомиллионного населения России, — любуясь собственным красноречием, вещал прокурор, — то, что, ежели и не в сердце, то, во всяком случае, в сознании самих подсудимых, тяжелее отцеубийства, то, конечно, и без моего обвинительного слова останется таким же тяжким злодеянием и в глазах защиты и в вашем, — выразительный взгляд в сторону членов суда, — приговоре, ибо мы все, — голос прокурора срывается на крик — от мала до велика плоть от плоти и кость от кости все той же России!..

— Ну, понес! — покрутил головой Генералов. — Прямо слеза прошибает...

— Логика этого объяснения, — продолжал прокурор, переходя к критике террора, — весьма несложна: каждый человек имеет свои убеждения, свои идеалы; он может их не только пропагандировать, но и осуществлять...

— Великая мыслища! — с пресерьезным видом похвалил Генералов.

— Если же ему не внемлют или же препятствуют силою его деятельности, то и он вправе прибегнуть к насилию.

— Правильно! — крикнул Осипанов. Дейер звякнул колокольчиком, кивнул прокурору: продолжайте, мол.

— Иными словами, мне не нравится, что Петербург построен на берегу Финского залива; я высказываю это убеждение другим, пропагандирую необходимость переноса столицы в иную местность Рос-

сии, но так как меня никто не слушает, то я вправе прибегнуть к динамиту, обратить столицу в груды развалин и затем, — приподняв руку, произнес с ударением прокурор, — предоставить обществу высказать свободно свое мнение о том, следует ли вновь возвести столицу на том же самом месте, или же перенести ее в центр России...

— Железная логика, — с иронической улыбкой заметил Александр Ильич.

— Отчитай ты его! — зашептал на ухо Саше Генералов. — И покрепче!

Далее прокурор, основываясь на том, что при аресте у Осипанова была найдена «Программа Исполнительного Комитета», а Ульянов начал печатать программу террористической фракции партии «Народная воля», делает заключение, что в этом заговоре слились усилия двух революционных партий. Он говорит, что сущность этой программы весьма проста и не сложна, но излагает ее путано и неверно.

— Каждое общество, — говорит он в этой программе, — должно быть построено на началах социализма; современный общественный и государственный быт построен на других началах; следовательно, он должен быть разрушен, уничтожен и построен вновь; но так как разрушить и уничтожить его немыслимо без политического переворота, необходимо сначала произвести последний. Средствами для такого переворота долженствовали служить пропаганда, то есть распространение в различных слоях населения социально-демократических идей...

— Вот уж верно: в огороде бузина, а в Киеве дядько, — засмеялся Генералов. — Слышал, Александр Ильич, что он нам приписывает? Пропаганду социально-демократических идей! Ну, философ!

— Я, конечно, не буду вдаваться ни в критику социализма, рассказав обо всех злодеяниях партии революционеров, — продолжал прокурор, — ни в критику руководящих программ различных фракций партии «Народная воля».

— Умно, — похвалил Генералов, — нечего людей смешить...

— Флаг, выставленный настоящею партией, — флаг «Народной воли», есть флаг самозванный, — безапелляционным тоном, как и положено прокурору, провозгласил Неклюдов. — Избранное ею средство — запугивание правительства — представляется совершенно бесцельным и не может привести ни к какому результату, ибо монарх русский, — вскинув вверх руку, так торжественно провозгласил Неклюдов, что даже дремавший представитель «народа» старшина Васильев приподнял голову и, помигивая, уставился на него, — стоял всегда выше всякого личного страха!

— То-то он и не вылазит из Гатчино...

— Если припомнить, — продолжает прокурор, перечисляя все, в чем обвинялся Александр Ильич, — что в это время не было уже в Петербурге ни Шевырева, ни Говорухина, то невольно приходишь к заключению, что Ульянов заменял собою на сходке обоих этих подсудимых — зачинщиков-руководителей.

Далее прокурор говорит, что в руках Ульянова находилась касса, что под его руководством Генералов и Андреюшкин выделывали азотную кислоту; он составлял программу, его пропаганда ускоряла решимость других, он, наконец, вложил в это дело все свои силы и всю свою душу.

8

Защитников не имели Ульянов, Генералов, Андреюшкин и Новорусский. Первые трое — по убеждению, четвертый — по недоразумению. Защитительные речи Генералова и Андреюшкина были очень кратки. Сказав, что обвинитель, приводя обрывки фраз из их показаний, умышленно исказил взгляды на террор, они заявили:

Генералов. В свое оправдание я могу привести только то, что всегда, как и в данном случае, я поступал вполне так, как был убежден, и согласно со своей совестью.

Андреюшкин. Я заранее отказываюсь от вся-

ких просьб о снисхождении, потому что такую просьбу считаю позором тому знамени, которому я служил.

В день, когда Саше предстояло произносить свою защитительную речь, Марии Александровне удалось попасть в зал суда. Саша заметил, как она пробиралась поближе к скамьям подсудимых, привстал и поклонился ей.

— Мама? —спросил Андреюшкин, проследовав за его взглядом, и, вспомнив свою горемычную, теперь совсем осиротевшую матушку, тяжко вздохнул. Как бы дорого дал он, чтобы хоть на одно мгновение перенестись в родную станицу Медведовскую и постучать в маленькое окошко белой хатки!

Выслушав смелые, беспощадные выступления Генералова и Андреюшкина и увидев, каким одобрительным взглядом Саша обменялся с ними, Мария Александровна поняла: он скажет что-то подобное. Она думала, что после Генералова и Андреюшкина будет говорить Саша, и вся замерла, но Дейер предоставил слово защитнику Канчера, Горкуна и Волохова. Из его длинной и путаной речи Мария Александровна поняла, что эти трое предали всех, и ей стало не по себе от одной мысли, что так мог бы поступить ее сын. Как ей ни было тяжело, как она ни страдала оттого, что над Сашей нависла такая смертельная опасность, но она не могла не восхищаться его силой воли, его бесстрашием.

— Ульянов! Ваше слово! — услышала Мария Александровна голос председателя, и сердце ее глухо заколотилось. Она видела, как Саша неторопливо встал, сделал несколько шагов вперед, оглянулся и, встретившись с нею взглядом, чуть приметно кивнул ей. В выражении его худого лица, в глубоко запавших, но ярко горящих глазах, в том привычном жесте, каким он всегда поправлял падавшие на лоб черные пряди волос, было такое непостижимое спокойствие, что у Марии Александровны даже сердце стало ровнее стучать.

— Относительно своей защиты, — начал глухим и ровным голосом Саша, — я нахожусь в таком же положении, как Генералов и Андреюшкин. Фактическая сторона установлена вполне верно и не отрицается мною. Поэтому право защиты сводится исключительно к праву изложить мотивы преступления, то есть рассказать о том умственном процессе, который привел меня к необходимости совершить это преступление.

Откинув упавший на лоб локон резким движением головы, Саша продолжал после небольшого молчания значительно громче, как бы подчеркивая тем самым особую важность именно этих слов:

— Я могу отнести к своей ранней молодости то смутное чувство недовольства общим строем, которое, все более и более проникая в сознание, привело меня к убеждениям, которые руководили мною в настоящем случае. Но только после изучения общественных и экономических наук это убеждение в ненормальности существующего строя вполне во мне укрепилось и смутные мечтания о свободе, равенстве и братстве вылились для меня в строго научные и именно социалистические формы. Я понял, что изменение общественного строя не только возможно, но даже неизбежно...

Что ж это Саша сказал? Уже в ранней молодости у него было недовольство существующим строем?.. Мария Александровна вспомнила, как Илья Николаевич любил те стихи Некрасова, в которых наиболее ярко были выражены именно эти мотивы, как он передавал эту любовь и ей и детям. Знал ли он, догадывался ли, на какую благодарную почву падали эти семена? Наверное, знал: он ведь так волновался, когда до него доходил слух о выступлении студентов.

— Есть только один правильный путь развития, — с трудом отвлекшись от мыслей, продолжала слушать Мария Александровна Сашу, — это путь слова и печати, научной печатной пропаганды, потому что всякое изменение общественного строя является как результат изменения сознания в обществе. Это поло-

жение вполне ясно формулировано в программе террористической фракции партии «Народной воли», как раз совершенно обратно тому, что говорил господин обвинитель...

Глянув в сторону настороженно поднявшего голову прокурора, Саша выдержал небольшую паузу, продолжал:

— Объясняя перед судом ход мыслей, которыми приводятся люди к необходимости действовать террором, он говорит, что умозаключение это следующее, — в голосе Саши проступила нотка иронии: всякий имеет право высказывать свои убеждения, следовательно, имеет право добиваться осуществления их насильственно. Между этими двумя посылками нет никакой связи, и силлогизм этот так нелогичен, что едва ли можно на нем останавливаться...

— Пахом, гляди, как прокурор заерзал, — шепнул Андреюшкину Генералов, — философ...

— Из того, что я имею право высказывать свои убеждения, следует только то, что я имею право доказывать правильность их, то есть сделать истинами для других то, что истина для меня. Если эти истины воплотятся в них через силу, то это будет только тогда, когда на стороне ее будет стоять большинство, и в таком случае это не будет навязывание, а будет тот обычный процесс, которым идеи обращаются в право... Я убедился, что единственный правильный путь воздействия на общественную жизнь есть путь пропаганды пером и словом. Но по мере того, как теоретические размышления приводили меня к этому выводу, жизнь показывала самым наглядным образом, что при существующих условиях таким путем идти невозможно. При отношении правительства к умственной жизни, которое у нас существует, невозможна не только социалистическая пропаганда, но даже общекультурная; даже научная разработка вопросов в высшей степени затруднительна.

Мария Александровна ушам своим не верила: неужели это ее Саша говорит? Она никогда не думала, что он может говорить так красноречиво

и убедительно. И где? На суде, под тяжестью такого страшного обвинения! Но почему он ничего не говорит в свое оправдание? Неужели он считает себя настолько виновным, что ему абсолютно нечего сказать? У нее больно сжалось сердце.

— Правительство настолько могущественно, а интеллигенция настолько слаба и сгруппирована только в некоторых центрах, что правительство может отнять у нее единственную возможность — последний остаток свободного слова, — продолжал Саша спокойным, ровным голосом. — Те попытки, которые я видел вокруг себя, идти по этому пути еще более убедили меня в том, что жертвы совершенно не окупят достигнутого результата. Убедившись в необходимости свободы мысли и слова с субъективной точки зрения, нужно было обсудить объективную возможность, то есть рассмотреть, существуют ли в русском обществе такие элементы, на которые могла бы опереться борьба...

Председатель суда потянулся к звонку, но Саша, заметив это, остановился. Как только Дейер убрал руку, он продолжал несколько торопливо:

— Ближайшее политическое требование интеллигенции — это есть требование свободы мысли, свободы слова. Для интеллигентного человека право свободно мыслить и делиться мыслями с теми, которые ниже его по развитию, есть не только неотъемлемое право, но даже потребность и обязанность...

— Потрудитесь объяснить, — сердито остановил его Дейер, — насколько это действовало на вас и касалось вас, а общих теорий нам не излагайте, потому что они более или менее нам уже известны.

— Я не личные мотивы говорю, а основания общественного положения, — властно повысил голос Саша. — На меня все это не действовало лично, так что с этой точки зрения я не могу приводить субъективных мотивов.

— А если не можете приводить, — раздраженно продолжал Дейер, абсолютно не поняв. что было сказано, — тогда нечего и возражать против обвинительной речи!

— Я имел целью возразить против той части речи господина прокурора, — выдержав значительную паузу, спокойно отвечал Саша, — где он, объясняя происхождение террора, говорил, что это отдельная кучка лиц, которая хочет навязать что-то обществу; я же хочу доказать, что это не отдельные кружки, а вполне естественная группа, созданная историей, которая предъявляет требования на свои естественные и насущные права.

— Под влиянием этих мыслей вы и приняли участие в злоумышлении? — вновь перебил его Дейер.

— Я хотел бы это пояснить...

— Будьте по возможности кратки в этом случае! — сердито проворчал Дейер, двигая лежавшие перед ним пухлые папки дел.

«Что же он не дает ему говорить? — наблюдая за этим неравным поединком Саши с председателем суда, думала Мария Александровна. — Что Саша еще хочет сказать?» И если вначале ей хотелось, чтобы он быстрее закончил свою речь и тем самым меньше обвинил себя, то теперь, когда этот старик с пустым взглядом начал перебивать ее сына, она негодовала уже за то, что он не дает Саше высказать все, что тот хочет! «Говори, Саша! Говори!»

— Среди русского народа всегда найдется десяток людей, — сказал Саша с силой непоколебимого убеждения, — которые настолько преданы своим идеям и настолько горячо чувствуют несчастье своей родины, что для них не составляет жертвы умереть за свое дело. Таких людей нельзя запугать чемнибудь...

— Точно! — подал реплику восхищенный Осипанов. — Абсолютно точно!

Когда же? Когда же у нее так стыло сердце? И вдруг она вспомнила: в день смерти Ильи Николаевича. Перед мысленным взором ее всплыла церковь, гроб... Господи праведный! Неужели и над Сашей неотвратимо нависла смерть? Мария Александровна почувствовала себя так невыносимо тяжело, что не могла больше оставаться в этом мрачном зале, который казался ей теперь похожим на церковь в ми-

нуты отпевания покойника. Напряжением всех сил своих сдержав подступавшие к горлу рыдания, она встала и, посмотрев на Сашу долгим, словно бы прощальным взглядом, медленно двинулась к проходу, не сводя с него глаз. Дейер поднялся с места и взялся за колокольчик, но увидев, что она пошла не к сыну, а к выходу, сел в свое высокое кресло. Проводив мать грустным взглядом, Саша гневно продолжал:

— Но ни озлобление правительства, ни недовольство общества не могут возрастать беспредельно. Если мне удалось доказать, что террор есть естественный продукт существующего строя, то он будет продолжаться, а следовательно, правительство будет вынуждено отнестись к нему более спокойно и более внимательно. Тогда оно поймет легко...

Дейер сердито заколотил звонком, изрек тоном приказа:

— Вы говорите о том, что было, а не о том, что будет!

— Чтобы мое убеждение о необходимости террора, — невозмутимо разъяснял Саша, — было видно более полно, я должен сказать, может ли это привести к чему-нибудь или нет. Так что это составляет такую необходимую часть моих объяснений, что я прошу сказать несколько слов...

— Нет, этого достаточно, так как вы уже сказали о том, что привело вас к настоящему злоумышлению.— Дейер переглянулся с прокурором, спросил: — Значит, под влиянием этих мыслей вы признали возможным принять в нем участие?

— Да, под влиянием их, — с открытым вызовом ответил Саша. — Все это я говорил не с целью оправдать свой поступок с нравственной точки зрения и доказать политическую его целесообразность. Я хотел доказать, что это неизбежный результат существующих условий, существующих противоречий жизни. Известно, что у нас дается возможность развивать умственные силы, но не дается возможности употреблять их на служение родине. — Саша повернулся к Неклюдову, закончил: — Такое объективно-

научное рассмотрение причин, как оно ни кажется странным господину прокурору, будет гораздо полезнее, даже при отрицательном отношении к террору, чем одно только негодование.

— Верно! — громко согласился Генералов, а Осипанов кинулся к Саше и крепко пожал ему руку.

— Вот все, что я хотел сказать.

В правительственном сообщении о деле 1 марта указывалось, что приговором особого присутствия правительствующего сената, состоявшимся 15/19 апреля 1887 года, все поименованные подсудимые, кроме Сердюковой, а именно: Ульянов, Шевырев, Осипанов, Генералов, Андреюшкин, Канчер, Горкун, Волохов, Лукашевич, Пилсудский, Новорусский, Ананьина, Пашковский и Шмидова приговорены к смертной казни через повешение.

Тут же было особо подчеркнуто, что Ульянов «принимал самое деятельное участие как в злоумышлении, так и в приготовительных действиях к его осуществлению». Суд ходатайствовал перед царем о смягчении участи всем подсудимым, кроме Ульянова, Шевырева, Генералова, Осипанова и Андреюшкина. В отношении Ульянова, Шевырева, Генералова, Осипанова и Андреюшкина царь приговор суда оставил в силе. Всем остальным подсудимым заменил смертную казнь разными сроками каторжных работ.

9

Уже по бледному, как-то испуганно застывшему лицу Песковского Мария Александровна поняла: случилось самое страшное...

— Что? — только и смогла вымолвить она.

— Смертная казнь...

Смертная казнь... Ее Саша приговорен к смертной казни. Нет, это никак не укладывалось в ее голове! Нужно что-то делать! Нужно спасать его. Но как? Куда идти? К кому обращаться? Она ведь побывала уже у всех и всюду встречала холод-

ное, иногда и злобное отношение. Ей открыто говорили: считайте, что у вас нет сына. Он еще живет, он еще шагает где-то по камере и думает... Бог мой, о чем он думает? Ведь он совсем еще не жил!

— Я узнал: приговор передан государю, — первым нарушил это скорбное молчание Песковский. — Остается только одно: просить о помиловании. 23 апреля — день окончательного объявления приговора. Срок кассации сокращен с двух недель до двух дней. Надо торопиться! Вам нужно немедленно добиться разрешения на свидание и уговорить сына подать прошение на имя государя. И если вы хотите спасти его, то проявите железную твердость.

На время суда Саша был переведен из Петропавловской крепости в Дом предварительного заключения. Здесь, после суда, Мария Александровна и получила с ним свидание. На этом свидании присутствовал молодой прокурор Князев. Он был восхищен смелым, мужественным поведением Александра Ильича на суде. Он несколько раз отходил к двери и даже выходил из камеры, чтобы дать возможность свободнее, без свидетелей поговорить матери с сыном.

— Сашенька, сынок мой, — говорила Мария Александровна, — я умоляю тебя: подай прошение...

— Не могу я, мама, сделать это после всего, что признал на суде, — стоял на своем Саша, — ведь это было бы неискренне.

— Прав он! Прав! — воскликнул Князев.

— Слышишь, мам, что люди говорят? — заметил Саша. — Нет, я никак не могу этого сделать. Я хотел убить человека — значит и меня могут убить. И надо примириться с этим, мама...

— Не могу я...

— Надо, мама, — твердо и властно повторил Саша. — Я ни о чем не жалею, ни в чем не раскаиваюсь. Каждый свой шаг я делал так, как велела мне совесть. Я никогда и ни перед кем не унижался. И перед лицом смерти не могу этого делать...

— Саша, ты еще очень молод, твои взгляды могут измениться.

— Ну, хорошо, мама. Положим, я подам прошение и мне заменят смертную казнь вечным заточением в Шлиссельбургскую крепость. Но разве это жизнь? Ведь там и книги дают только духовные, ведь эдак до полного идиотизма дойдешь. Неужели ты бы этого желала для меня, мама?

— Саша, в жизни ничто не вечно. Многое может измениться со временем.

— Нет, мама, ты прости меня, но я не могу. Жить в каменном мешке крепости — это удел крыс, а не людей. И еще раз прошу тебя: смирись ты с этим, не убивайся. Я сам шел по этому пути, я сам избрал его. Я уже свел счеты с жизнью, а ты нужна меньшим. Володя вот заканчивает гимназию, Оля — тоже. Я не говорю уже о Мите и Маняше, которые без тебя шагу ступить не могут...

Более часа продолжалось это свидание, но Мария Александровна так и не смогла уговорить Сашу подать прошение о помиловании, хотя она и уверяла его, что такая просьба будет уважена царем. Прокурор Князев рассказывал:

— С большой душевной болью отказывая матери, Ульянов привел такой довод, в котором еще раз сказалось исключительное покорявшее всех благородство его натуры: «Представь себе, мама, что двое стоят друг против друга на поединке. В то время как один уже выстрелил в своего противника, он обращается к нему с просьбой не пользоваться в свою очередь оружием. Нет, я не могу поступить так». Прощаясь с матерью, он сказал, что хотел бы почитать Гейне. Я тут же поехал в магазин Меллье, купил на немецком языке томик Гейне и отвез ему.

Вернулась Мария Александровна со свидания, точно с похорон. Песковский принялся бурно возмущаться:

— Это безумие! Он просто из-за мальчишеской амбиции лезет в петлю! Мы должны удержать его от

этого — простите, но другого слова я не нахожу — сумасшедшего поступка!

— Нет, Матвей Леонтьевич, — тяжко вздохнула Мария Александровна, — надо смириться...

— Но вы не перенесете его казни! У вас за один месяц голова уже совсем поседела. А остальные дети? Он подумал о них? Я вот сам пойду поговорю с ним!

Песковский добился свидания с Александром Ильичем. Мария Александровна просила его, чтобы он ничего не говорил Саше такого, что могло бы причинить ему лишние страдания, но Песковский раздраженно ответил:

— Не понимаю, чего вы хотите! Чтобы ваш сын был спасен или чтобы он погиб? Я лично делаю все, чтобы спасти его!

Во время этого свидания Песковский действовал по своему жизненному принципу: все средства хороши. Он сказал Александру Ильичу, что мать, убитая его отказом подать прошение о помиловании, тяжело заболела, она начала заговариваться, врачи боятся, что она не перенесет казни. Но если она, по счастью, и останется жить, на что мало надежды, то за рассудок ее ручаться никак нельзя.

— Подумай, в каком положении окажется семья, — говорил Песковский. — Отца нет, мать тяжело больна, и, значит, за нею еще нужен уход. Я понимаю, тебе трудно поступиться своими принципами, но ведь это нужно для спасения родных, близких людей. Людей, которым уже и так приходится страшно тяжело. Я мог бы сюда не идти, но я считаю своим долгом сделать все, что от меня зависит, чтобы избавить семью от этого нового ужасного несчастья.

Александр Ильич всегда с исключительной строгостью относился к своему слову, которое у него никогда не расходилось с делом. Он сам не лгал ни в малом, ни в большом, и ему даже в голову не приходило, что Песковский может в такие решительные минуты его жизни прибегнуть к обману. А то, что мать, так дорожившая каждой минутой свидания

с ним, не смогла прийти сама, не оставляло никакого сомнения в том, что с нею действительно что-то случилось. А Песковский, увидев, что Александр Ильич поверил ему, начал особо налегать на самую слабую его струну: призывал его сделать этот трудный шаг не ради себя, а ради других. После долгого раздумья Саша согласился обратиться к царю.

— Вот образец, — обрадовался Песковский, — адвокат говорит, что нужно только так писать. В другой форме прошение и не покажут государю.

Александр Ильич посмотрел «образец» верноподданнического раболепия и вернул его Песковскому, сказав, что он сам в состоянии написать то, что найдет нужным.

Еще до суда Канчер, Горкун и Волохов подали прошение на имя царя, в котором униженно молили его смилостивиться над ними и не очень строго наказывать их. Но этого Канчеру показалось мало. После объявления приговора он строчит новое прошение. В нем, как в зеркале, видна вся его мелкая, рабская, предательская душонка.

«Всепресветлейший, Державнейший
Государь, Самодержец!
Михаила Никитина Канчера
Прошение

Несколько раз брался за перо, но оно выпадает из рук и у меня не хватает сил, чтобы высказать Вашему Императорскому Величеству то, что мне говорит мое сердце.

Несчастный случай ввел меня в такую среду товарищей, которые сделали меня ужасным преступником. Я теперь сознаю это сам и ожидаю заслуженной смертной казни. Но у меня еще есть те чувства, которые даны Богом только человеку; это чувство на каждом шагу преследует меня, злодея-преступника, и я, припав к стопам Вашего Императорского Величества, всеподданнейше прошу позволения выска-

зать те, глубоко засевшие в мою душу слова, которые скажу и умирая. Я не революционер и не солидарен с их учением, а всегда был верным подданным Вашего Императорского Величества и сыном дорогого отечества. Мысль моя всегда была направлена к тому, чтобы быть верным и полезным слугою Вашего Императорского Величества и это оправдать на службе Вашего Императорского Величества.

Если же я и был сообщником злонамеренного преступления, то в это время я находился в состоянии, непонятном для самого себя, и объясняю это временным умопомрачением.

Недостойный верноподданный
Михаил Никитин Канчер»

Именно такой «образец» предлагал Песковский Александру Ильичу. Но он не мог отрекаться от своих убеждений и унижаться, как делали другие (по этому «образцу» подали прошения одиннадцать человек). Он всю ночь не спал, обдумывая каждое слово обращения, подписывать которое ему было тяжелее смертного приговора. Но раз он дал слово, он уже не мог отступиться от него. С натугой, пересиливая внутреннее сопротивление, он написал:

«Ваше Императорское Величество!

Я вполне сознаю, что характер и свойства совершенного мною деяния и мое отношение к нему не дают мне ни права, ни нравственного основания обращаться к Вашему Величеству с просьбой о снисхождения в видах облегчения моей участи. Но у меня есть мать, здоровье которой сильно пошатнулось в последние дни, и исполнение надо мною смертного приговора подвергнет ее жизнь самой серьезной опасности. Во имя моей матери и малолетних братьев и сестер, которые, не имея отца, находят в ней свою единственную опору, я решаюсь просить Ваше Величество о замене мне смертной казни каким-либо иным наказанием.

Это снисхождение возвратит силы и здоровье моей матери и вернет ее семье, для которой ее жизнь так

драгоценна, а меня избавит от мучительного сознания, что я буду причиною смерти моей матери и несчастья всей моей семьи.

Александр Ульянов»

Это обращение Александра Ильича к царю было так не похоже на покаянное верноподданническое прошение, что чиновники, боясь гнева государя, решили спрятать его под сукно и поспешили сообщить: «Просьбы подали все, кроме Ульянова, Генералова, Осипанова и Андреюшкина». Песковский сказал с досадой Марии Александровне после того, как царь утвердил смертный приговор:

— Ничего не вышло, потому что он написал совсем не так, как я говорил ему. Никакого раскаяния и подпись даже не «верноподданный», а просто «Александр Ульянов». Александру III пишет Александр Ульянов! Конечно, на это прошение и внимания не обратили, и оно не было даже показано царю.

В «Правительственном вестнике» тоже указывалось, что после приговора только одиннадцать осужденных подали всеподданнейшие прошения о помиловании. Среди них был и Шевырев. Директор департамента полиции доносил министру внутренних дел: «Шевырев подал просьбу о помиловании. В просьбе своей он сознается в своем преступлении и просит даровать ему жизнь. Завтра же, после объявления приговора, я вызову Шевырева к себе и постараюсь получить от него все возможное. То же я сделаю и с другими подсудимыми, которые подадут просьбы о помиловании.

Обер-прокурор Неклюдов опасно заболел, и боятся нервного удара».

Как видно из этого донесения, Дурново старался вытягивать все из подавших прошение. И если бы он нашел, что заявление Ульянова можно считать за прошение, не преминул бы сообщить об этом, подчеркивая, как и в случае с Шевыревым, свою заслугу. Однако он нигде не упоминает о том, что Ульянов подал прошение.

О том, как Александр Ильич и в последние дни своей жизни думал и заботился не о себе, а о других, говорит его письмо сестре из Петропавловской крепости, куда он опять был переведен после объявления приговора:

«Дорогая Аничка!

Большое спасибо тебе за твое письмо. Я получил его на днях и очень был рад ему. А немного замедлил ответом, надеясь увидеться с тобой лично, но не знаю, удастся ли нам это.

Я перед тобою бесконечно виноват, дорогая моя Аничка; это первое, что я должен сказать тебе и просить у тебя прощения. Не буду перечислять всего, что я причинил тебе, а через тебя и маме: все это так очевидно для вас обоих. Прости меня если можно.

Я помещаюсь хорошо, пользуюсь хорошею пищею и вообще ни в чем не нуждаюсь. Денег у меня достаточно, книги тоже есть. Чувствую себя хорошо, как физически, так и психически.

Будь здорова и спокойнее, насколько это только возможно; от всей души желаю тебе всякого счастья. Прощай, дорогая моя, крепко обнимаю и целую тебя.

Твой А. Ульянов

Напиши мне, пожалуйста, еще; я буду очень рад получить от тебя хоть маленькую весточку. Я так же буду писать тебе, если узнаю, что имею на это возможность. Еще раз прощай.

Твой Ал. Ульянов»

Вечером 4 мая в камеру Саши зашел комендант крепости со всей свитой и объявил, что царь оставил в силе приговор суда. А среди ночи его разбудили и приказали одеваться. Заковав в кандалы, усадили в карету и повезли к пристани. Здесь два жандарма подхватили под руки и, не дав осмотреться по сторонам, переволокли по трапу на маленький пароходик, пихнули в люк. Там уже были Шевырев, Оси-

панов и Генералов. Не успел он, звеня кандалами, обнять их, как приволокли и Андреюшкина.

— Куда везете? — спросил Генералов офицера, когда пароходик, тяжело пыхтя, отвалил от причала.

— А вот увидите, — уклончиво отвечал тот.

Ночь была темная, в маленькие окна каюты берега Невы чуть виднелись. Слышен только стук машин да плеск воды. Навстречу за всю дорогу не попался ни один пароход. И Саша и все его друзья были уверены, что их везут на казнь, что это последнее их путешествие, и больше молчали. Подаст кто-нибудь реплику, другой ответит, явно с трудом отрываясь от своих мыслей.

И вдруг все вздрогнули, услышав крик чайки. Саше показалось даже, что он ее увидел в окошко. Он вспомнил поездку в Казань со своими, путешествия по Ушне на душегубке, просторы родного Кокушкина... Все это теперь казалось сказочным сном. Что мама будет делать? Она, наверное, и в этот час думает о нем, надеется... А может, с ними опять сыграли какую-то шутку? По всему видно, их везут в Шлиссельбург. Но зачем? Не вздумалось ли царю перед тем, как их повесить, подержать в каменных мешках крепости несколько лет в ожидании смерти?

Часа два пароходик плыл и остановился, когда начала заниматься заря. Поднявшись на палубу, Саша увидел сверкающий в лучах восходящего солнца золотой ключ на шпиле крепости. Два дюжих жандарма подхватили его под руки и поволокли к воротам в окружении целой толпы стражи. Прошли одни ворота, другие, двор, еще ворота, еще двор, низкие своды коридора — и камера. Сашу так быстро волокли и в таком плотном кольце стражи, что он видел только высокие стены, пробившиеся меж камней желтые одуванчики да синее, без единой тучки, небо...

Прошел день 5 мая, 6-го, 7-го... Окошко в двери открывалось утром, в обед и вечером. Надзиратель молча подавал пищу, молча забирал пустую посуду. В глазок постоянно заглядывал бесшумно шагавший

по коридору часовой. Если Саша пытался заговорить, он испуганно отскакивал от двери, но через минуту его глаз опять появлялся в маленьком отверстии. Саша не знал, что думать. Он тысячи раз задавал себе один и тот же вопрос: зачем их сюда привезли? На казнь? Но ведь это можно было сделать и в Петропавловской крепости. Царь заменил смертную казнь вечным заточением? Но почему им не объявили? Или это специально сделано так, чтобы к пытке заключения еще прибавить и пытку постоянного ожидания смерти?

В эти три дня перед мысленным взором Саши несколько раз прошла вся его короткая, но полная тревог и тяжких раздумий жизнь. Он ни в чем не раскаивался, но было страшно жаль, что так мало удалось сделать. И все чаще приходили в голову те мысли, которые не давали ему покоя и в последние дни подготовки покушения: а тот ли путь борьбы он избрал? Но тогда он их гнал от себя, принимая за вспышки малодушия. Теперь же, когда он, не дрогнув, сделал все, что мог, он смотрел на свои дела как бы со стороны, и его вера в то, что террором можно чего-то добиться, все больше слабела...

Утром 8 мая Сашу разбудил надзиратель. Саша глянул на толпу офицеров и солдат, стоявших в открытых дверях, и понял: конец. Он встал, спокойно оделся. Священнику, сунувшемуся к нему с предложением принять исповедь, он коротко и властно сказал:

— Нет.

Во дворе у крепостной стены Саша увидел виселицу с тремя веревками. Рядом с виселицей, в мешках, лежали трое. Он не успел узнать, кто же это, как вывели Шевырева. Он понял: метальщиков казнили первыми.

Последнее, что увидел Саша, взойдя на эшафот, были желтые одуванчики, зажатые меж камней...

«Сегодня в Шлиссельбургской тюрьме, согласно приговору Особого присутствия Правительствующего

сената, 15/19 минувшего апреля состоявшемуся, подвергнуты смертной казни государственные преступники: Шевырев, Ульянов, Осипанов, Андреюшкин и Генералов.

По сведениям, сообщенным приводившим приговор Сената в исполнение, Товарищем Прокурора С.-Петербургского Окружного Суда Щегловитовым, осужденные, ввиду перевода их в Шлиссельбургскую тюрьму, предполагали, что им даровано помилование. Тем не менее при объявлении им за полчаса до совершения казни, а именно в $3^1/_2$ часа утра о предстоящем приведении приговора в исполнение, все они сохранили полное спокойствие и отказались от исповеди и принятия Св. Таин.

Ввиду того что местность Шлиссельбургской тюрьмы не представляла возможности казнить всех пятерых одновременно, эшафот был устроен на три человека, и первоначально выведены для свершения казни Генералов, Андреюшкин и Осипанов, которые, выслушав приговор, простились друг с другом, приложились ко кресту и бодро вошли на эшафот, после чего Генералов и Андреюшкин громким голосом произнесли: «Да здравствует Народная воля!» То же самое намеревался сделать и Осипанов, но не успел, так как на него был накинут мешок. По снятии трупов вышеозначенных казненных преступников были выведены Шевырев и Ульянов, которые так же бодро и спокойно вошли на эшафот, причем Ульянов приложился к кресту, а Шевырев оттолкнул руку священника.

Об изложенном всеподданнейшим долгом поставляю себе доложить Вашему Императорскому Величеству.

Граф Дмитрий Толстой

8 мая 1887 г.»

10

Мария Александровна шла на свидание к Ане, все еще сидевшей в Доме предварительного заключения. По улице бежал мальчишка, кричал, раздавая какие-то листки:

— Казнены! Государственные преступники казнены!

Мария Александровна подняла один листок, глянула на него, и в глазах у нее потемнело: повесили... Она прислонилась к стене дома, чувствуя, что ноги у нее подламываются, постояла немного и, собрав все силы, заставила себя идти дальше; на нее уже начали поглядывать любопытные. Надзирательнице, ведшей ее на свидание с Аней, она сказала:

— Если можно, не говорите пока дочери...

Та кивнула головой: она, как и другие тюремщики, преклонялась перед удивительной выдержкой и мужеством этой женщины.

Самообладание и поразительная твердость Марии Александровны даже на этом свидании с дочерью не изменили ей. Хотя у нее сердце обливалось кровью, но она, не желая причинять боль Ане, ничего не сказала ей и так спокойно вела себя, так ласково упрашивала ее не волноваться и беречь себя, что Аня никакой перемены не заметила в ней и не догадалась, что произошло.

Казнь старшего любимого брата Владимир Ильич переживал очень тяжело. «Несчастье это произвело сильное впечатление на Владимира Ильича, закалило его, заставило серьезнее задуматься над путями, которыми должна была идти революция» *.

Много он дум передумал в это время и сказал:

— Нет, мы пойдем не таким путем. Не таким путем надо идти.

---

* А. И. Ульянова-Елизарова, Воспоминания родных о В. И. Ленине, стр. 17.

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ А. И. УЛЬЯНОВА

1866, 31 марта — В Нижнем Новгороде в семье преподавателя гимназии Ильи Николаевича Ульянова родился сын Александр.

1869 — Летом Саша с матерью и сестрой Аней ездил на родину отца, в Астрахань.

И. Н. Ульянов получает место инспектора народных училищ Симбирской губернии и переезжает осенью вместе с семьей в город Симбирск.

1874 — Александр Ульянов поступает в приготовительный класс Симбирской классической гимназии.

1883 — Закончив гимназию, Александр Ильич получает аттестат зрелости и золотую медаль.

Осенью поступает в Петербургский университет на естественное отделение физико-математического факультета.

1885, 8 ноября — Вместе с депутацией студентов посещает Салтыкова-Щедрина.

В конце года начинает принимать деятельное участие в занятиях экономического кружка.

1886, 12 января — Умер Илья Николаевич Ульянов.

8 февраля — За научную работу «Об органах сегментарных и половых пресноводных Annulata» Александр Ильич получил золотую медаль.

В марте вступил в научно-литературное общество университета. Вскоре избирается его секретарем.

Осенью избран в совет «Союза землячеств» Петербурга. Вместе с другими студентами организовывает демонстрацию 17 ноября памяти Н. А. Добролюбова. Пишет, гектографирует и рассылает прокламацию «17 ноября в Петербурге».

В декабре оформляется террористическая группа, поставившая своей целью подготовить покушение на Александра III, в которую входит и А. И. Ульянов.

Охранка, перехватив письма к высланным из Петербурга студентам, участвовавшим в демонстрации 17 ноября, устанавливает за А. И. Ульяновым негласный надзор, зачисляет его в списки политически неблагонадежных.

В конце этого года и начале нового А. И. Ульянов организует рабочие кружки в Галерной гавани, на Васильевском острове, ведет в них занятия.

1887, 10—14 февраля — Живет в Парголове (предместье Петербурга), изготовляет динамит.

Во второй половине марта из Петербурга уезжает Шевырев (в Крым), скрывается за границу Говорухин, А. И. Ульянов берет на себя руководство боевой группой.

Пишет проект программы «Террористической фракции партии «Народная воля».

25 февраля — На квартире Канчера А. И. Ульянов разрабатывает план покушения с метальщиками и сигнальщиками.

1 марта — Арестован вместе с другими участниками заговора.

30 марта — А. И. Ульянов получает первое свидание с приехавшей в Петербург матерью.

15 апреля — Начался суд над всей террористической группой. Обвинительный акт характеризует А. И. Ульянова как одного из руководителей заговора.

18 апреля — А. И. Ульянов произносит защитительную речь на суде.

8 мая в 4 часа утра во дворе Шлиссельбургской крепости А. И. Ульянов казнен вместе с Шевыревым, Генераловым, Осипановым, Андреюшкиным.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

В. И. Ленин, Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов? Соч., т. 1.

В. И. Ленин, Гонители земства и Аннибалы либерализма. Соч., т. 5.

В. И. Ленин, От какого наследства мы отказываемся? Соч., т. 2.

«Владимир Ильич Ленин. Биография». М., 1960.

«Александр Ильич Ульянов и дело 1 марта 1887 года». Сборник. М. — Л., 1927.

«Первое марта 1887 г. Дело П. Шевырева, А. Ульянова, П. Андреюшкина, В Генералова, В. Осипанова и др.». М. — Л., 1927.

Ульянова-Елизарова А. И., Воспоминания об Александре Ильиче Ульянове. М. — Л., 1931.

«Галерея Шлиссельбургских узников», ч. 1. СПб., 1907.

Ульянова-Елизарова А. И., Воспоминания об Ильиче. В книге «Воспоминания о В. И. Ленине», ч. 1. М., 1956.

Ульянов Д. И. и Ульянова М. И., Из Самарского (аллакаевского) периода (1889—1893). В книге «Воспоминания о В. И. Ленине», ч. 1. М., 1957.

М. И. Ульянова, Отец Владимира Ильича Ленина Илья Николаевич Ульянов. М., 1931.

Н. К. Крупская, Воспоминания о Ленине. М., 1957.

Н. К. Крупская, О Ленине. М., 1960.

«Юбилейный сборник памяти И. Н. Ульянова». Пенза, 1925.

«Молодые годы В. И. Ленина. По воспоминаниям современников и документам». М., 1960.

Викторовский Н. Г., Александр Ильич Ульянов. М., 1926.

Итенберг Б. С. и Черняк А. Я., Александр Ульянов. М., 1957.

Лукашевич И. Д., Воспоминания о деле 1-го марта 1887 года, «Былое», 1—2, 1917.

Новорусский М. В., Записки шлиссельбургца. М., 1933.

«Охранник об аресте участников 1 марта 1887 г.». «Красный архив», кн. 9, 1925.

«Новые материалы о деле 1-го марта 1887 г.» «Каторга и ссылка», кн. 10, 1930.

«М. Е. Салтыков-Щедрин в воспоминаниях современников». М., 1957.

В. Фигнер, Запечатленный труд, ч. 2. М., 1932.

Г. В. Плеханов, Наши разногласия. Избр. произв. в 5 томах, т. I.

Г. В. Плеханов, Программа социал-демократической группы «Освобождение труда». Там же.

«Хроника социалистического движения в России 1878—1888 гг. Официальный отчет». М., 1906.

«Отчет о состоянии начальных народных училищ Симбирской губернии, 1872 гражданский год». Казань, 1873.

А. Амосов, И. Н. Ульянов (некролог). «Симбирские губернские ведомости» № 7, 1886.

В. Назарьев, Современная глушь. «Вестник Европы» № 2, 1872, № 3, 1876.

В. Назарьев. Из весенних воспоминаний члена Симбирского училищного совета. «Симбирские губернские ведомости», 1894. 11 мая.

В. Назарьев, Вешние всходы. «Вестник Европы» № 4, 1898.

А. Поляков, Второе 1-е марта. М., 1919.

В. Алексеев и А. Швер, Семья Ульяновых в Симбирске. Л., 1925.

Н. О. Рыжков, Симбирская гимназия в годы учения А. И. и В. И. Ульяновых.

«Семья Ульяновых». Ульяновск, 1960.

Карамышев А. Л., Симбирская гимназия в годы учения В. И. Ленина. Ульяновск, 1958.

Бейсов П. С., Гончаров и родной край. Куйбышев, 1960.

«Дело А. И. Ульянова и Александр III». «Советская юстиция» № 10, 1937.

Кани П. Я., Петропавловская крепость. Л., 1960.

Колосов Е. Е., Государева тюрьма — Шлиссельбург. Птрг., 1924 г. «История СССР» т. 11, М., 1955.

Кондаков А. И., Директор народных училищ И. Н. Ульянов. М., 1948.

Макаров М. П., Илья Николаевич Ульянов и просвещение чувашей. Чебоксары, 1958.

М. Шагинян, Семья Ульяновых. М., 1959.

Н. Нечволодова и Л. Резниченко, Юность Ленина. М., 1959.

А. Гринберг, В семье Ульяновых. М., 1957.

ОГЛАВЛЕНИЕ

Канивец Владимир Васильевич

АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ

М., «Молодая гвардия», 1961,
280 с., 7 вкл.
(«Жизнь замечательных
людей». Серия биографий.
Вып. 15 (329).

Редактор *Т. Гладков*
Переплет худож. *А. Лындина*
Заставки худож.
Е. Гаврилкевича
Худож. редактор *К. Аркуша*
Техн. редактор *Н. Михайловская*

А06171 Подп. к печ. 18/X 1961 г.
Бумага $84 \times 108^1/_{32}$. Печ. л.
8,75(14,35)+7 вкл. Уч.-изд.
л. 13,4. Тираж 115 000 экз.
Зак. 1258. Цена 59 коп.

Типография «Красное знамя»
изд-ва «Молодая гвардия».
Москва, А-30, Сущевская, 21.



МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ


Вл. Канивец
АЛЕКСАНДР УЛЬЯНОВ
ЖЗЛ